

Косе Эрнандес

Мартин
Фернандес

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
 обозначенного здесь срока

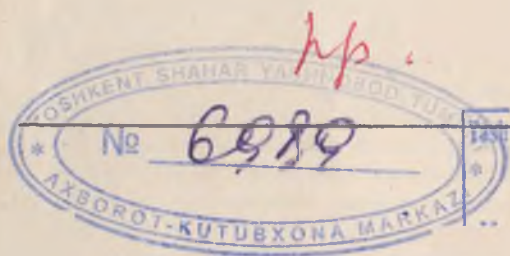
№/кз 87 - 1238				
№/кз - 1 19				
31х/сч - 93				
				✓





Хосе Эрнандес
Мартин
Фьерро

Перевод с испанского
Мих. Донского



Москва
«Художественная литература»
1984

И (Apr)
Э81

José Hernández

MARTÍN FIERRO

1872

Предисловие и примечания

В. Земскова

Художник

А. Яковлев

Э $\frac{4703000000-137}{028(01)-84}$ 169-84

© Предисловие, оформление. Издательство «Художественная литература», 1984 г.

Предисловие

В каждой культуре есть ключевые, национального значения произведения, которые наиболее полно запечатлевают облик того или иного народа. У аргентинцев — это эпическая поэма Хосе Эрнандеса «Мартин Фьерро», написанная во второй половине XIX века. Поэму Эрнандеса в Аргентине знают все, от мала до велика, конечно, не целиком, а какие-то отрывки из нее, пословицы, выражения. Более того, фольклористы уже в XX веке записали от народных певцов немало вариантов тех или иных сюжетов «Мартина Фьерро», то есть отдельными частями, расставшись с именем своего создателя, поэма вошла в устное творчество, став непосредственным выражением сознания народа, представлений о родине, о красоте, мудрости, справедливости.

Когда в 1972 году исполнилось сто лет со времени выхода первой книги «Мартина Фьерро», в работах, появившихся в связи с юбилеем, поэму называли «книгой народа», «формулой нации», «национальным мифом», сравнивали с древним эпосом — испанской «Песней о моем Сиде», с французской «Песней о Роланде» и т. д. И в подобных оценках, хотя иногда и преувеличенных, было все-таки немало от истины. Поэма Эрнандеса действительно стала для аргентинцев своего рода эталонным воплощением национального мира, как, скажем, для русской культуры былины, «Слово о полку Игореве» или песни Кольцова...

Некоторые литературоведы в начале XX века, когда аргентинский фольклор еще не был достаточно хорошо изучен, полагали, что произведение Эрнандеса основано на каких-то народных эпических сказаниях, а самого поэта считали чуть ли не народным певцом. Однако исследования собирателей устного творчества показали, что никаких эпических песен подобного масштаба в фольклоре не существует и связь произведения Эрнандеса с народным искусством носит более сложный и тонкий характер. Да, действительно, герой его поэмы простой крестьянин-гаучо, то есть житель аргентинской пампы, поет он о своей жизни, выступая в роли народного певца, написана поэма на крестьянском просто-

речь, поэтический слог ее, пословицы, поговорки кажутся прямо взятыми из устного творчества. Но все элементы, близкие фольклору, отнюдь не являются результатом простого копирования, а сам Эрнандес при всей своей близости к народной культуре далеко не был народным певцом.

Особенности и достоинства этого памятника можно объяснить, только приняв во внимание все особенности становления народного и профессионального творчества Аргентины.

Долгое время после завоевания испанцами в XVI веке Нового Света те земли, что позднее стали основой государства Аргентина, в отличие, скажем, от Мексики или Перу, где пришельцы обнаружили богатые индейские культуры и огромные запасы драгоценных металлов, не вызвали у них почти никакого интереса. Здесь не было золота, а по бескрайним степям кочевали разноязычные племена, еще не вышедшие из каменного века. Активное развитие этих земель началось только в последней трети XVIII века, когда в торговле все большее место стали занимать скот, кожи и другие продукты животноводства. Тогда здесь было образовано вице-королевство Рио-де-ла-Плата с центром в Буэнос-Айресе, неоднократно подвергавшемся набегам индейцев. Новое вице-королевство начало быстро богатеть на торговле скотом. А следует отметить, что завезенный из Европы крупный рогатый скот и лошади в благодатных условиях пампы расплодились в несметном количестве. В этот период и складывается из различных этнических слоев — креолов, то есть потомков испанцев, метисов, то есть потомков смешанных испано-индейских браков, отчасти из завезенных в Новый Свет негров, мулатов — специфическое сельское население, занимавшееся главным образом отловом одичавшего скота. Часть этого населения составляли вольные скотоводы, часть батраки, часть контрабандисты, пополнилось оно иммигрантами, беглецами, скрывавшимися от преследования законом и т. п.

Жизнь в пампе сравнивала все различия и создавала единый тип гаучо — величайшего мастера верховой езды, закаленного труженика, вольнолюбивого знатока степной жизни, не признающего городских властей. Свообразно складывалась культура гаучо, в которой встречались и смешивались совершенно разные жанры и формы. Что касается трудовых обычаев, поведения в пампе и бытовой жизни, то здесь гаучо немало переняли от индейцев, но основу их фольклорной культуры составили испано-европейские традиции, причем разных исторических эпох. На незамысловатых сельских праздниках могли звучать паяды — песенные импровизации народных певцов-паядоров, подобно древним испанским хульярам, повествующим под переборы гитары об увиденном и услышанном, и тут же исполнялся завезенный из Европы какой-

побудь новомодный салонный тапец, приспособленный к вкусам гаучо.

В тот «период коня», или «период кожи», как его иногда называют аргентинские историки, гаучо образовали первоначальное «ядро» формирующейся аргентинской нации, которая вступила на самостоятельный исторический путь после освобождения от власти Испании в первые десятилетия XIX века.

Во время войны за независимость, когда происходит быстрое формирование национального самосознания, профессиональная литература впервые обращается к гаучо, которые составляли вольную конницу в освободительных войсках. Поэт-патриот Бартоломе Идальго (1788—1822) начал писать от имени простого гаучо на основе народных лирических песенок «сьелито» сатирические куплеты, а затем создал жанр стихотворного диалога, положившего начало литературному течению «поэзия гаучо», в русле которого впоследствии сформировался как поэт и Хосе Эрнандес. Диалог Идальго воспроизводил ситуацию, типичную для степной жизни: умудренный народный невец-паядор излагает слушающему его гаучо события войны, комментирует ситуацию в стране, критикует высшие классы, сетует на забвение демократических идеалов революции. Вместе с его героями, отражающими народный взгляд на мир и историю, впервые в литературе возникает и образ аргентинского мира: хриплые голоса паядоров, гитары, кони, теряющаяся в бесконечности пампа...

Диалоги Идальго получили широкое хождение в народе, были подхвачены демократической литературой и широко использовались в пронагаудистской борьбе в годы начавшихся вскоре после освобождения кровавых гражданских войн. Борьба шла между унитариями, сторонниками создания централизованного государства, и федералистами, выступавшими за автономию провинций. Унитарии выражали интересы молодой аргентинской буржуазии, ядро федералистского движения составляли крупные помещики-каудильо. Обе партии искали поддержки у гаучо и рекрутировали из них свои войска. Часто гаучо становились жертвами обмана и демагогии политических авантюристов. В 30—40-е годы кровавый диктатор Хосе Мануэль Ортис де Росас (1793—1877), опираясь на гаучо, пытался уничтожить нарождавшиеся в стране буржуазные порядки, истребить либеральную интеллигенцию.

В период войны против Росаса другой крупный поэт-гаучо Иларио Аскасуби (1807—1875), используя жанры Идальго и народные танцы-песни, создал подлинный эпос гражданских войн. Он также выступал в роли народного певца, повествующего об ужасающих событиях братоубийственной войны и призывающего гаучо встать на сторону унитариев.

Однако высшей точкой развития поэзии гаучо стало творчество Хосе Эрнандеса, отразившее уже новый период истории Аргентины, когда, свергнув диктатуру Росаса, к власти пришли буржуазно-либеральные силы. То было время поисков путей национального развития, столкновения программ, противоборствующих партий, как и прежде пытавшихся перебороть друг друга руками гаучо. Либерализм унитариев обернулся для народа новыми бедствиями. Здесь следует остановиться на фигуре видного государственного и общественного деятеля Аргентины, крупнейшего писателя XIX века Доминго Фаустино Сармьенто, полемика с которым стала важнейшим истоком поэмы Хосе Эрнандеса.

Деятельность Сармьенто, пропагандировавшего просветительские идеалы, выступавшего против феодально-клерикального мракобесия и патриархальной рутинности, оказалась крайне противоречивой по своему содержанию. В своем знаменитом эссе «Фаундо. Цивилизация или варварство в Ла-Плате» (1845), талантливнейшей панораме аргентинской истории, природы, обычаев, образа жизни степных жителей, Сармьенто пришел к выводу, что гаучо — это причина всех бед страны. Исходя из идей природно-биологического детерминизма, он утверждал, что гаучо вместе с кровью индейцев унаследовали от них дикость, варварство, неспособность приобщиться к цивилизации. Врожденная страсть к насилию, культ ножа — таким виделся ему гаучо. Одним словом, гаучо оказались препятствием на пути буржуазного прогресса, и вывод был сделан очень простой: гаучо следует убрать с дороги.

Сармьенто был не только идеологом, но и практиком, и правительством, которое он возглавил в качестве президента в 1868—1874-х годах, безжалостно расправлялось с гаучо. Указы о бродяжничестве, оседлости, рекрутчине, ставившие гаучо в положение изгнанников на собственной родине, быстрый рост латифундий, лишавших крестьян земли и скота, массовая европейская иммиграция, поощрявшаяся властями, — все это отозвалось взрывом мятежей, в которых переплетались интересы народных низов и терпящих свои позиции консервативных сил. Гаучо становились уже кровным врагом буржуазного прогресса. Вот как, например, писал Доминго Фаустино Сармьенто в годы одной из военных кампаний середины XIX века: «Не жалейте крови гаучо. Это удобрение, которое нужно сделать полезным для страны. Кровь — единственно, что у них есть человеческого».

В такой обстановке и вырос крупнейший поэт Аргентины Хосе Эрнандес, который, участвуя в политической и военной борьбе на стороне консервативных сил, стал, однако, выразителем настроений не помещичьих слоев, а гонимого народа.

Родился Хосе Эрнандес в 1834 году в обеспеченной семье, вы-

род в провинции Буэнос-Айрес, в поместье диктатора Росаса, где его отец служил управляющим, с детства знал степную жизнь, обычаи и поэзию гаучо; не получив систематического образования, он пополнил его всю жизнь самостоятельно. С юности Эрнандес, подобно большинству своих сверстников, оказался втянутым в гражданскую войну и принимал участие на стороне консерваторов почти во всех крупных сражениях на протяжении 50—70-х годов. В периоды затишья занимался чем придется. Стенографист, преподаватель грамматики, журналист, коммерсант, бухгалтер, служащий временных мятежных федералистских правительств, даже министр в одном из них — таков был путь Эрнандеса к «Мартину Фьерро». Путь, который почти не обнаруживает каких-либо политических интересов. Несколько традиционных сатирических скандито и газетные статьи в защиту гаучо — вот все, что известно о его ранней литературной деятельности. И это со всей ясностью говорит о том, что поэма родилась прежде всего из острой потребности, когда не осталось уже других средств, доказать всю губительность для страны, народа политики наступавшего нового строя каким-то иным, особенно убедительным способом.

Мне, кто горьким горем сыт,
мне, кто пьян тоской жестокой,
словно птице одинокой,
песня душу облегчит.

Это слова не только Мартина Фьерро, но и самого Эрнандеса, для которого поэзия стала непосредственным продолжением политической борьбы. Не случайно в статьях, написанных им незадолго до того, как он принялся за «Мартина Фьерро», уже присутствуют все основные социально-критические мотивы, которые легли в основу поэмы: рекрутчина, насильственный сгон на фальшивые выборы, злоупотребления мировых судей, разорение жилищ, преследование гаучо, бегство их к индейцам и т. д. Не поэма, а аргумент в споре не на жизнь, а на смерть — так осознавал смысл своего произведения сам Эрнандес. Он писал в 1874 году, уже задним числом разъясняя замысел поэмы: «Для выступлений во имя облегчения бед, которые тяготели над этим классом общества (т. е. над гаучо.— В. З.), которые истощают и губят его вследствие ошибочного правления, существуют парламентская трибуна, газеты, политический клуб, книга и, наконец, брошюра... я и воспользовался этой формой». Обратим внимание — «брошюра» — так незамысловато Эрнандес назвал свою поэму, которая вышла в виде тоненькой книжечки, где, помимо самой поэмы, были помещены публицистические статьи в защиту гаучо.

Так же, как и в газетных статьях Эрнандеса, в основе поэмы лежал спор с Сармьенто. Сармьенто видел в гаучо препятствие

на пути прогресса, Эрнандес исходил из представлений о самоценности традиционного народного мира, его культуры, обычаев. Однако было бы ошибкой считать Эрнандеса чем-то вроде романтика-консерватора, выступавшего против прогресса. Преобразование страны он также считал необходимым, но не за счет отрицания культуры и истории народа; он хотел прогресса для гаучо и вместе с ними, ибо видел в них основу аргентинской нации, «пролетарский класс» обездоленных и в то же время «расу», то есть основу аргентинской нации, само существование которой оказывалось поставленным под вопрос.

Антигуманные стороны капиталистического строя выступили в особо резкой, обнаженной форме в Аргентине, и едва ли не первым из всех писателей Латинской Америки именно Эрнандес столкнулся со всей суммой тяжелых общественно-нравственных проблем, которые несла с собой буржуазная цивилизация, наступавшая на патриархальное «варварство». Более того, можно смело говорить, что острота общественных противоречий, с одной стороны, а с другой стороны, выдающийся талант поэта обусловили то, что «Мартин Фьерро» стал одним из самых значительных в мировой литературе памятников, запечатлевших с такой силой острую гуманистическую проблематику периода наступления капитализма, антинародную сущность нового общественного строя.

Чтобы передать народную точку зрения на историю, Эрнандес, как и его предшественники поэты-гаучо, построил повествование от имени гаучо-паядора, повествующего о жизни воображаемой аудитории. Но если предшественники этого паядора были своего рода эпическими «журналистами», рассказывавшими о текущих событиях и перипетиях гражданских войн, то паядор Эрнандеса стал художником, повествующим о народной жизни в целом, об основных ее коллизиях. Стало это возможным потому, что паядор Эрнандеса является не только народным певцом, но также и «злым гаучо» — типичным героем «малой» народной эпики — так называемых корридо, близких испанскому романсу и сопоставимых, например, с русскими народными балладами о разбойниках.

Сармьенто в своей книге «Факундо» с замечательной яркостью и точностью описал поэтику народных корридо о «злых гаучо» и типичные для них мотивы: тяжелый труд и страдания, которые переживает в своей жизни гаучо, утрата им любимой, вынужденное убийство, моральные муки убийцы, ибо убийство для человека из народа — это «несчастье», бегство от общества и превращение в изгоя, встреча и схватка с преследующими его солдатами. Все перечисленные мотивы налицо в «Мартине Фьерро». Более того, современные фольклористы зафиксировали народные корридо, относящиеся к середине XIX века, основной герой которых носит

ности такое же имя, что и герой Эрнандеса. Для этих романсов типичны темы и мотивы, также присутствующие в поэме Эрнандеса: обращение к богу и святым, рок, тяготеющий над героем, несправедливости и преследования со стороны властей, рекрутчина, высокое значение коня, культ мужской дружбы, таинственный или туманный финал, в котором герой исчезает.

Очевидно, что ориентиром при создании образа Мартина Фьерро для Эрнандеса служили народные песни, но, как уже говорилось, он не скопировал их, а использовал отдельные элементы «материала» народной эрики для решения таких задач, которые не были под силу народному певцу,— для создания монументальной эпической панорамы народной жизни. Говоря от имени народа, на его просторечном языке и используя его искусство, Эрнандес выступал в роли народного певца, но мыслил и действовал он как писатель, сливая воедино все источники, в том числе и литературные. Среди этих литературных источников, помимо поэтов-гаучо, сочинений аргентинских романтиков и книги Сармьенто, исследователи установили также мотивы и темы, почерпнутые в испанской классической и современной Эрнандесу литературе. Среди них знаменитый первый плутовской роман «Ласарильо с Тормеса», произведения Кальдерона, Лопе де Веги, Кеведо, Эспронседы, испанские эпические поэмы средних веков, известно, наконец, что любимой книгой поэта был «Дон-Кихот» Сервантеса.

Объединяя и синтезируя весь доступный ему материал, Эрнандес сделал своего героя, бедолагу-гаучо, претерпевшего всевозможные мытарства, какие только выпадали на долю простого человека, не просто народным певцом, но и художником, рисующим народную жизнь в переломный момент ее истории, когда страна, расставаясь с патриархальным прошлым, вступала в современность.

Великие задачи рождают великих писателей, и Эрнандес сделал Мартина Фьерро великим паядором-реалистом, правдоискателем, наделил его развитым эстетическим сознанием, передав ему все свое понимание смысла творчества.

Обратим внимание на то, что и первая и вторая книги поэмы начинаются, следуя традиции эпического пения, с изложения паядором Мартином Фьерро своих принципов. Ведь паяда — это творческий акт, импровизация перед слушателями, и, творя, паядор размышляет об искусстве и целях своего пения. Здесь и обращение к святым с просьбой о поддержке и помощи, и традиционное для народных певцов хвастовство своим вольным поэтическим даром, и типичные для народной поэзии идеи о божественном даре пения и поэтического вдохновения, и обращение к слушателям с просьбой о внимании. Однако Эрнандес вкладывает

в уста Мартина Фьерро программу не только народного певца, но и художника-реалиста. Мартин Фьерро объявляет, что цель его пения — правда, истина, и ничто не собьет его с этого пути, а средства для постижения истины — обращение к основным вопросам народной жизни, углубленное размышление и обобщенное ее воспроизведение. И действительно, хотя в первой книге поэмы Эрнандес в основном следует мотивам корридо о «злом гаучо», запечатлевшем социально-этический опыт парода, он придает традиционным сюжету и мотивам совершенно новый размах, создавая картину всенародного бытия и выявляя через традиционный сюжет главный социально-исторический конфликт эпохи.

Образы действительности в поэме Эрнандеса предстают, как в фольклоре, максимально укрупненными, перазъятыми, и здесь почти нет примет конкретной географии и истории Аргентины, но обобщение это в конечном итоге носит не фольклорный характер. Как и народный певец, Мартин Фьерро ссылается на судьбу-злодейку, но в то же время он мыслит аналитически, раздумывая о социальном смысле своей судьбы и обобщая свой жизненный опыт. С этой главной творческой задачей оказывается связанным внутренней логикой и выбор поэтической формы.

Той строфы, которой владеет паядор Мартин Фьерро, не было в фольклоре. Эрнандес создал индивидуальную строфу, которая своим строением и по своей сути отвечает реалистическому методу постижения действительности. В эрнандесовской строфе привычный для фольклора восьмисложник образует емкое и пластичное шестистишие (чаще — аббввб, реже — аббввб).

Тонкий анализ эрнандесовской строфы дал известный аргентинский писатель Э. Мартинес Эстрада. Он раскрывает ее структуру: первые две строчки — завязка действия или утверждение идеи, две следующих — их конкретизация, последние две — обобщение, вывод, причем очень часто это пословица или поговорка. Так сама форма начинает работать на главную цель — обобщение жизненного опыта и постижение истины. Причем истина эта не умозрительная, а выстраданная, пережитая, это правда-доказательство, правда-самозащита, наподобие защитительной речи обвиняемого на суде. Собственно, так оно и было, ибо устами Мартина Фьерро Эрнандес отвергал те обвинения, которые предъявлял гаучо Сармьенто.

Спор с Сармьенто о гаучо, ставший спором о человеке, о сущности и норме гуманизма, о той цивилизации, апологетом которой выступал противник Эрнандеса, и есть потаенный организатор поэмы, ее главный нерв. Спор этот пронизывает каждую клетку поэмы, движет сюжет, художественную мысль, им порождены все герои.

Сармьенто пришел к выводу, что гаучо — варвар, дикарь, чуть ли не зверь, способный лишь к анархии и насилию, и всю ответственность возложил на его расово-этническое происхождение. Эрнандес сорвал мистификаторские покровы с теории Сармьенто, показав, что насилие не есть врожденное свойство человека из природы, что насилие порождается насилием, что этот феномен, калечащий душу человека, есть порождение тяжелых социально-исторических противоречий. Поэтому, рассказывая о своей судьбе, Мартин Фьерро рассказывает обо всем народе, а защищая себя, защищает весь народ. Он сам — «человек-народ».

Повествование строится так, что в ключевые моменты опыт отдельного человека возводится в степень опыта всенародного. Обобщенная схема жизни всех гаучо дается уже во вступлении, предваряя рассказ о жизни Мартина Фьерро. Она такова: из-за преследования властей жизнь мирного сельского труженика прервалась в сплошное страдание, вынужденный защищаться, гаучо сбивается с пути, совершает преступление. Эта схема наполняется конкретным содержанием в повествовании Мартина Фьерро о своей судьбе и повторяется в рассказе его побратима Круса. Характерно, что Эрнандес в начале рассказа Мартина Фьерро обращает особое внимание на то, что гаучо — это крестьянин, что он миролюбивый, спокойный человек. Эту человеческую гумашную природу труженика Эрнандес настойчиво утверждает и тоном повествования. Герой страдает: ведь речь идет о горе, несчастье, его постигшем, и борьба, в которую он вступает, — вынужденная самозащита. Самозащита гаучо — защита гуманизма, человека, его самых основных, сущностных прав. Если присмотреться внимательно к поэме, то можно обнаружить, что в идейном и художественном планах центральное место в ней занимают пары антагонистических идей-образов: человек — зверь, воля — неволя. Последний образ конкретизируется в таких образах, как жизнь-ад, жизнь-тюрьма, клетка, где человек утрачивает свою человечность и превращается в зверя.

Но не таков Мартин Фьерро, чтобы покорно пойти в клетку. Чаядор и «злой гаучо», он предстает перед воображаемыми слушателями уже испившим до дна всю горькую чашу жизни, но не сломившимся, а, напротив, выпрямившимся. Его не считали за человека, загоняли, как зверя, а он своей непримиримой борьбой доказывал свою человечность и, более того, в борьбе стал истинным человеком, осознавшим цену воли. В схватке с враждебными силами он обрел размах эпического героя, воплощающего народный идеал мужества, справедливости, нравственности. Духовная мощь Мартина Фьерро, утверждающего, что земля для него мала и могла бы быть побольше, поражает. Сып пашпы, он так же не-

объятеп в своем свободолобии, как ее просторы. Пампа становится в поэме лирическим образом желанной воли, она-то и укрывает в своих просторах беглецов, которым не осталось места в старой жизни. Как и было в те времена, преследуемые гаучо решают отправиться в кочевья индейцев. Прощание с родной землей, слезы текут по лицу Мартина Фьерро, он разбивает оземь неразлучную гитару и исчезает в пампе.

Таков финал первой книги, и он обнаруживает всю оригинальность строя поэмы.

Первоначально повествование вел паядор Мартин Фьерро. С включением в сюжет Круса выдерживавшийся ранее принцип отождествления автора с героем нарушается. Паяду о своей жизни, дублирующей жизнь Мартина Фьерро, ведет сам Крус. Финал книги ломает его окончательно. О прощании побратимов с родной землей и их исчезновении в пампе рассказано от третьего лица. Ни интонация, ни лексика, ни манера выражения не изменились, и это сглаживает для читателя очевидную нелепость: если Мартин Фьерро разбил гитару и в знак прощания, и в знак того, что никто с ним не сравнится в мастерстве импровизации, и исчез в пампе, то кто же вел паяду?

Конечно, такое построение произведения возникло не намеренно. Автор хотел показать бескомпромиссность борьбы, а для этого — и в соответствии с поэтикой народного романса — герой должен был уйти, погибнуть, исчезнуть. Это вынудило автора обнаружить себя в том же образе «злого гаучо». Строение возникло не намеренно, но оно имеет исключительно важное значение. Появление автора в финале с сообщением о том, что герой простился с родной землей, ушел, исчез, простился и со своим искусством, означает только одно: паяду вел автор, носитель такого же сознания, такого же искусства, тех же черт характера, той же духовной судьбы. Лирическое авторское начало воплотилось в эпическом образе народного героя, а образ этот оказался пронизанным глубоко интимным, личностным настроением. Эпос слился с лирикой, творческая индивидуальность Эрнандеса с народной стихией, а сам автор — со своим героем.

Полное слияние с народом и было условием огромной популярности, которую сразу же завоевал «Мартин Фьерро». На выход поэмы в 1872 году откликнулось множество газет, более десятка напечатали полный текст поэмы или отрывки из нее. Одно за другим выходят все новые отдельные издания. Особенно знаменательным было то, что поэма сразу же стала своей для крестьян-гаучо. В 1874 году в письме, адресованном издателем восьмого (!) издания «Мартина Фьерро» и опубликованном в качестве предисловия, Эрнандес упоминает о гаучо, «слушающих у очага пове-

ствование о своих бедствиях», которое читает им местный грамотей, замечая, что он много бы дал за то, чтобы его поэма побудила крестьян прийтись за изучение азбуки. В этом письме социально-критическая тема достигает максимальной остроты и выразительности. Здесь Эрнандес излагает свой утопический идеал мирной пастушеской Аргентины, дополненной также всеми благами, которые может дать цивилизация. При этом он специально подчеркивал, что политика, проводимая правящими кругами, их ставя на слом всего традиционного народного мира чревата драматическими последствиями для нации...

После выхода первой книги Эрнандес в течение нескольких лет еще оставался на положении мятежника и скитальца, участвуя в борьбе федералистов с центральной властью. В 1873 году Сармьенто предложил законопроект, назначавший цену за головы наиболее видных деятелей оппозиции. За Эрнандеса было назначено 1000 песо. Но в 1875 году жизнь Эрнандеса, как и многих других федералистов, изменилась. На президентском посту неистового Сармьенто сменил, как писали газеты, первый аргентинский президент, который не умел стрелять из пистолета. Началось мирное урегулирование политических разногласий, обескровленное в жестокой борьбе федералистское движение окончательно шло на убыль.

Эрнандес возвращается в Буэнос-Айрес, включается в политическую жизнь, становится депутатом, затем сенатором, покупает книжный магазин, типографию, землю. Отказавшись от открытой борьбы, Эрнандес остается защитником гаучо, будучи сенатором, он выступает против незаконий, распродажи иммигрантам из европейских стран земель, на которых искони жили гаучо, за выборность мировых судей.

Вторая книга поэмы «Возвращение Мартина Фьерро» вышла в 1879 году. Что побудило Эрнандеса написать ее? Конечно, пужно иметь в виду и чисто художественные интересы поэта, осознавшего себя таковым в результате исключительного успеха первого опыта. Продолжения просили многие друзья и читатели, и, как писал Эрнандес в предисловии к «Возвращению Мартина Фьерро», название второй книги появилось раньше, чем он решил написать ее. Но главные побудительные причины не в этом. Эрнандес был прежде всего практиком истории, и творчество художественное являлось для него орудием исторического творчества. Первая книга была написана в защиту гонимой «расы». Поэт защитил ее, создав правдивую картину народного бытия и образ народного героя-вольюлюбца. Созданный образ он хотел увековечить, сделать идеалом всего народа и навсегда. Таковы масштабы мышления Эрнандеса и масштабы его замысла в кризисную эпоху смены

времен в Аргентине, в момент решительной перетряски традиционного мира и его слома...

Столь великая задача, конечно, потребовала более широкого обоснования и развития образа героя, превращения его в сознательного носителя норм национального мира. И Эрнандес во второй книге сделал Мартина Фьерро не только героем, но и мудрецом, носителем коллективного знания народа о жизни.

Основная исходная идея о самоценности мира гаучо как основы национальной общности аргентинцев нашла широкое обоснование в предисловии к поэме — «Четыре слова к читателям». Эрнандес предельно четко формулирует здесь свое понимание гаучо как самобытной и самостоятельной «расы», органически возникшей в тесном контакте с природой, из которой она и черпает свои особенности миропонимания, бытия, культуры, искусства. Опыт «расы» гаучо, находящий свое выражение в пословицах и поговорках, которые содержат кодекс народной мудрости и морали, вполне сопоставим, утверждал он, с коллективной мудростью древних народов, запечатлевшейся в их эпосе и в религиозно-дидактических кодексах. Опыт своего народа Эрнандес и намеревался развить, обобщить, оформить и вернуть ему в качестве наставления на будущие времена. Свою задачу он формулировал осторожно, но недвусмысленно: «Книга, предназначенная разбудить ум и любовь к чтению в поселении, почти не знающем культуры, предназначенная служить полезным развлечением после тяжелых дневных трудов для тысяч людей, никогда не державших в руках книги, должна точно соответствовать вкусам и обычаям тех, для кого она написана, излагать их идеи и передавать их чувства на их языке с помощью фраз наиболее употребительных, имеющих всеобщее хождение, хотя бы они и были литературно неверными... чтобы в конце концов эта книга слилась с ними настолько тесно и стала им настолько близкой, что ее чтение было бы не чем иным, как продолжением их жизни».

Какой же опыт хотел Эрнандес вложить в сознание народа устами паядора во второй книге? Судить об этом по тому, что он излагал в предисловии, было бы ошибкой. Вслед за приведенными словами он перечислял правила добродетельного поведения в жизни, основанные на заповедях христианской морали и дополненные некоторыми устоями либерального гражданского общества. Эти правила, постоянно попирая их, проповедовали власть, администрация, церковь. И не Эрнандесу было с ними тягаться. Судить о том, что предложил Эрнандес своему народу, надо прежде всего по тому идеалу, носителем которого был его герой. Кем же стал Мартин Фьерро, когда он вернулся?

Черты кризиса, который пережил сам Эрнандес, сказались на

образе Мартина Фьерро. Если в первой книге он был открытым котельником, то теперь это умудренный опытом постаревший учитель и даже резонер, изменились тон, настроение, поведение героя. Но ни поэт, ни герой не смирились с действительностью и не расстались со своим идеалом. Огонь мятежа не угас, он собрался в ровное пламя мудрости, знания жизни. Это знание и передает человек народ», которому о своей личной судьбе почти нечего больше сказать.

Фактически, как это точно отметил Э. Мартинес Эстрада, естественный и логический конец поэмы совпадает с концом первой книги. Сюжет «злого гаучо», народного героя, превращенного поэтом в посетителя народного идеала, закончился его исчезновением в пампе. У гаучо-паядора больше нет сюжетов. Потому во второй части поет главным образом не паядор Мартин Фьерро, а паядор Эрнандес. Вслед за вступлением от имени Мартина Фьерро и его паядой, содержащей рассказ о жизни в плену у индейцев, смерти Круса, спасении пленницы, возвращении и встрече с сыновьями, поэт вводит четырех новых певцов (сыновей Фьерро, Жука — сына Круса, и негра — брата противника Фьерро в стычке, описанной в первой книге), которые, передавая друг другу гитару, поют о своей жизни. Их опыт по своему смыслу почти не отличается от опыта Мартина Фьерро: жизнь враждебна гаучо. Мартин Фьерро вернулся тайком, и, хотя за давностью лет его никто не преследует, он чувствует себя гонимым, чужим. Таими же чужими на своей земле чувствуют себя и все другие. Тень тюрьмы не исчезла. Пространное описание тюрьмы, положения узника и тягот одиночного заключения содержится в паяде первого сына Фьерро, батрака, попавшего в тюрьму по подозрению в убийстве. С тюрьмой и адом сравнивает свою жизнь Жук, которого, как и Мартина Фьерро, насильно забрали в солдаты.

Центральные образы поэмы человек—зверь, воля—неволя (или тюрьма, клетка) обретают новые оттенки и еще большую конкретность.

Мартин Фьерро, которого гнали, как зверя, сумел защитить свое право на волю, его сын прошел через тюрьму-клетку, безнадежно мечтая в ней о пампе и коне. Человек, смиряющийся с такой жизнью, начинает вести себя наподобие зверя, либо хищного, либо слабого, пугливого. История второго сына Мартина Фьерро — это история ребенка, попавшего в руки плута и пройдохи Хорька (его образ, как и Жука, связан с традицией испанского романа о плутах). Ребенок думает о норе, где он мог бы укрыться. Хорек — в оригинале звучит как «вискача», то есть земляной заяц, живущий в норах, мелкий грызун...

Сыновья Фьерро и Жук, рассказывая о своей жизни, морализируют. Жизнь с ее жестокостью многому их научила. Но главный моралист Мартин Фьерро. Он поучает своих сыновей, сына Круса, воображаемых слушателей, как стоически переносить тяготы жизни, как жить с неразлучной судьбой-злодейкой. Это советы многоопытного, мудрого человека, испившего до конца горечь жизни. Сентенции Мартина Фьерро и других участников беседы, разбросанные по повествованию, концентрируются в финале поэмы, где Мартин Фьерро, излагая основы добродетельной и разумной жизни, выступает учителем во всех областях народного бытия.

Каковы источники эпической мудрости Мартина Фьерро? Эрнандес писал в предисловии, что ему было бы трудно отделить поговорки, пословицы, присловья, которые он почерпнул у народа, от тех, что были созданы им самим. Разумеется, народная традиция была основным источником, но в последнее время исследователи обратили внимание и на усвоенные Эрнандесом, постоянно интересовавшимся фундаментальными «кодексами» эпической мудрости, такие источники, как Библия, Коран, учения Конфуция, Сенеки, Эпиктета. Возможно, что Эрнандес использовал в определенной мере и скандинавский эпос «Старшая Эдда». Традиционное для паядоров состязание в импровизированных ответах и вопросах, воссозданное во второй книге поэмы, напоминает архаические состязания в мудрости характером своих тем: что такое песня земли, песня неба, время, количество, вес... Побеждает, разумеется, Мартин Фьерро — знаток жизни и мудрец, и потому имеющий право поучать.

Однако свести смысл второй книги к морализаторству было бы ошибкой. Конечно, заповеди народно-христианской морали составляют основу сентенций и правил Мартина Фьерро, но есть и иной идеал — тот, что вытекает из художественной плоти образа. И главным критерием в выяснении его содержания является позиция Мартина Фьерро по отношению к окружающей жизни. Вернулся ли Мартин Фьерро? Смирился ли он?

Финал поэмы исключает такой итог. Таинственный и многозначительный, он отрицает смирение пайдора с жизнью-адам, жизнью-тюрьмой. Автор, появившийся, как и в первой книге, в финале, сообщает, что все четверо героев разъехались в пампе на четыре стороны света, исчезли, договорившись сменить свои имена (а имя среди них имеет только один Мартин Фьерро!) и дав обещание друг другу совершить «что-то». Что? Эрнандес не сообщает, это секрет. Выйдя на просцениум, автор уже не уходит до конца последней песни. Он подводит итог знаниям о судьбе «расы», о ее прошлом и будущем. Осторожно, затушеванные общей то-

нальностью голоса усталого мудрого певца, звучат слова, на которые невозможно не обратить внимания:

Действовать должны мы сами
и при этом твердо знать:
чтобы разгорелось пламя,
надо снизу разжигать.

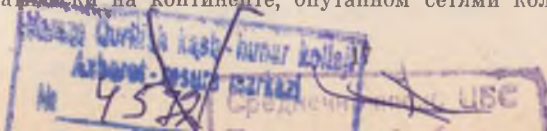
Может быть, это имеет какую-то связь с секретом гаучо, может быть, и нет. Ответить на вопрос пекому — все ушли. Прощание, состоявшееся в первой книге, повторилось снова, и новый и последний уход из жизни — продолжение митежа и утверждение все того же идеала. Потому что в споре: человек или зверь, воля или клетка — не может быть компромисса.

Два финала, два исчезновения. Гаучо Мартин Фьерро теперь исчез уже навсегда, и остался только Эрнандес — его создатель, двойник и наследник. Теперь он сам не только носитель народного гуманизма, народного героико-эпического идеала, который утверждался митежом Мартина Фьерро, но и носитель духовного опыта народа, его мудрости, питаемой опытом страданий и борьбы. И потому издревле знакомая мировой поэзии тема «я возмилк памятник», господствующая в последней главе, звучит не как традиционное хвастовство паядора, а как подтвержденная всей поэмой неоспоримая привилегия:

Сохранять вовеки будет
память обо мне народ.

Песня эта вечна, потому что она содержит абсолютную правду о прошлом «человека-народа». Ведь ее создавал герой и мудрец Мартин Фьерро. Автор-паядор, носитель его имени, его героизма и мудрости, то есть и истории народа, и знания народа о своей истории, самим собой и своим пением связывает воедино прошлое и настоящее. В финале поэмы герои договорились «что-то» сделать. Но гаучо ничего не могут сделать, потому что они исчезли, ушли. Что-то может сделать только автор, и это что-то — его песнь. Финальный монолог автора и есть выход в будущее истории. Завещая народу свою песнь, поэт передает ему эпический образ родины как незыблемую основу национальной культурной традиции.

Содержание этого образа определилось самой историей формирования аргентинской нации на начальном этапе. А история ее началась с борьбы тех жестоких противоречий, которые определяли основной всемирно-исторический конфликт эпохи, с главного спора всемирной истории нового времени, звучавшего вдвойне драматически на континенте, опутанном сетями колониальной зави-



симости, — спора о сущности человеческого и о будущем человека, спора между гуманизмом народной жизни «миром» и дегуманизирующей, раскалывающей мир буржуазной цивилизацией. Человек или зверь, воля или тюрьма — в такой своеобразной и острой художественно-философской форме запечатлелась история первых шагов аргентинской духовной традиции. Памятником прошлому и заветом будущему остался «человек-народ» Мартин Фьерро — эпический герой и крестьянин, защищающий в непримиримой борьбе свое человеческое достоинство, а значит, достоинство всего народа.

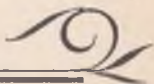
Как и Мартин Фьерро, не знал до конца своих дней ни «покоя», ни «уютя» и Эрнандес, облик которого вполне закономерно слился в восприятии читательских поколений с образом его мятежного и мудрого героя. Когда в 1886 году поэт скончался от сердечного приступа, одна столичная газета поместила объявление: «Умер сенатор Мартин Фьерро». Сам же Эрнандес говорил о герое поэмы: «Это сын, давший имя отцу».

В. Земсков

Часть первая

Таучо
**Мартин
Фьерро**

Песнь первая



Мартин Фьерро

Начинаю петь я песню,
а гитара в лад звенит.
Мне, кто горьким горем сыт,
мне, кто пьян тоской жестокой,
словно птице одинокой,
песня душу облегчит.

Призову я всех святых:
пособите, не оставьте
и на ум меня наставьте,
память сделайте ясней;
коли в повести моей
что напутаю — подиравьте!

Пусть святые чудотворцы
речи складность придадут,
зренью остроту пошлют.

К помощи воззвав господней,
начинаю я сегодня
долгий и нелегкий труд.

Есть у нас певцы (их слава
по заслугам велика),
пели встарь про бедняка,
да примолкли, будто в спячке.
Гарцевал конек до скачки,
а скакать — кишка тонка.

Но не след Мартину Фьерро
спотыкаться на скаку.
Раз уж взялся, не сбегу.
В час печальный, в час веселый
любим песню мы, креолы,
и не цеть я не могу.

С песней жил я, с ней умру,
с ней я странствовал повсюду,
с песней похоронен буду,
с ней явлюсь перед творцом.
Как родился я певцом,
так вовеки им пребуду.

Пусть слова приходят сами
и ложатся в песнь мою,
как колеса в колею.
Если уж зацел я песню,
подо мной земля хоть тресни,—
до конца я допою.

Я усядусь на бугре
и, не мудрствуя лукаво,
цеть вам стану — не для славы,
все начистоту, подряд;
ветер будет цеть мне в лад,
подпевать мне будут травы.

Я не грамотей, но все же
без усилья, без труда,
как из родника вода,
льются из меня куплеты;
а замолкну я, тогда
знайте: моя песня сета.

Как возьму гитару в руки,
тут никто мне не указ;
и польется мой рассказ,
как поток, неудержимо;
вторя мне, заплачет прима,
глухо зарыдает бас.

Словно бык в своем коррале,
не боюсь я ничего;
коль сочтешь за хвостовство —
молодой ты или старый, —
выходи, садись с гитарой,
и посмотрим — кто кого.

Путь я выбрал, не попячусь,
хоть бы он грозил бедой;
сам, без помощи чужой
справлюсь со своею ношей.
С добрыми — я сам хороший,
а с недобрыми — худой.

Сердце у меня не дрогнет,
а рука — хвала творцу! —
не изменит удальцу.
Рад бы жить незлобно, тихо,
но случись любое лихо —
встречусь с ним лицом к лицу.

Гаучо я прирожденный,
нет хозяев надо мной,
вся земля мне дом родной;
ярый бык меня не свалит,
гад ползучий не ужалит,
не спалит полдневный зной.

Вольным я рожден, как рыба,
в море ей преграды нет.
Что дано мне с малых лет,
то никто уж не отымет:
с тем господь меня и примет,
с чем явился я на свет.

Вольный я, что птица в небе.
Только мне уж никогда
на земле не вить гнезда;

коли в поднебесье взмою,
не летит никто за мною —
разве горе да беда.

Злым обидчикам своим
я прощать не собираюсь.
В пампе я один скитаюсь,
прячась, будто зверь степной,
сплю в постели травяной,
звездным небом укрываюсь.

Расскажу все без утайки
я вам о судьбе своей:
не смутян я, не злодей;
если в грабежах замешан
да в смертоубийстве грешен —
то вина лихих людей.

Бедный гаучо! Он прежде
день за днем, за годом год
проливал не кровь, а пот,
мирной радуясь свободе.
Отчего ж теперь в народе
он разбойником слывет?

Песнь вторая

Тот, кто в жизни натерпелся,
пусть не плачется при мне:
может, я хлебнул вдвойне.
Пусть удачник не гордится,
что сегодня на коне, —
ведь недолго и свалиться.

Ежели ты мыкал горе,
ежели ты слезы лил,
ты и мудрость накопил;
в жизни слезы да мученья
лучше всякого ученья —
в эту школу я ходил.

Мы приходим в мир слепыми,
и надежду мы берем
в дальний путь поводырем;
шаг — и мы в глубокой яме.
Жизнь не нянчится, брат, с нами,
учит нас всему битьем.

Гаучо еще недавно
вольным был в родном краю;
прокормить он мог семью
сам, не клапяясь, не кляпча,
скот был у него и ранчо.
Жили что в твоём раю!

До свету — уж я на кухне
жар вздуваю под золой...
Это час любимый мой —
час, когда горластый кочет
близкую зарю пророчит,
тихий час предзаревой.

Завернувшись в попчо, спят
сладким сном жена, ребята.
Я потягиваю мате,
глядь — и, словно невзначай,
солнце в дымке розовой
кажет свой багряный край.

Все под солнечным лучом
заиграло, заблестело...
Птаха ранняя запела,
вывел кочет-горлодер
курочек своих во двор...
День настал. Пора за дело.

Тот прилаживает шпоры,
этот выбирает хлыст...
Говор, пенье, смех и свист.
Ржут у коповязей копи,
а быки мычат в загоне, —
утром всякий голосист.

К необъезженным коням
гаучо в корраль вошел;

жеребец и дик и зол,
ржет, храпит, — поди-ка, в щепки
разнести он может крепкий
высоченный частокол.

Гаучо к нему без страха:
раз — и взнуздан жеребец;
миг один — и удалец
на коня взлетает ловко...
Да, не скажешь, что споровкой
обделил его творец.

Конь то вздыбится, то мчится,
сисясь сбросить смельчака,
гаучо ему в бока
острые вонзает шпоры...
Буен жеребец, но скоро
станет он смирной телка.

Ну, игра!.. А если навзничь
грянется на всем скаку —
на погибель седоку —
конь, лукавое отродье,
гаучо (он начеку)
спрыгнет, удержав поводья.

У других работа в пампе,
тяжкий труд, не пустяки:
то поразбрелись быки, —
надобно собрать их в стадо, —
то табун кобылий надо
поделить на косяки.

Вечер настает — и снова
после трудового дня
собирается родня;
все, поужинав, любили
старые послушать были
у семейного огня.

Сытые, наговорившись,
дети, и отец, и мать,
все укладывались спать
в мирной тишине домашней;

день же завтрашний опять
был похож на день вчерашний.

Гаучо не ведал горя,
крепко он сидел в седле,
жил привольно на земле,
почитая труд за благо.
А теперь он, бедолага,
в нищете и в кабале.

Даже самый распоследний
гаучо, бедняк-горюн,
он и то имел табун,
да подобранный по масти.
Мчит тебя лихой скакун,
степь да небо... То-то счастье!

А как съедутся, бывало,
на клеймение скота!
Тут соперников с полста
соревнуются в уменье
спутать лошадь для клейменья, —
ловкость, сила, быстрота!

То-то праздник был народу
на десятки лиг вокруг!
Если ты при этом, друг,
отличался в силе, в сметке,
получал ты чарку водки
прямо из хозяйских рук.

Под повозками всегда
мы от солнца и от пыли
фляги с водкою хранили:
как работа позади,
присосешься ты к бутылки,
словно сирота к груди.

До веселых этих сборищ
каждый был из нас охоч:
этот норовил помочь
больше по обжорной части
(люди-то есть всякой масти),
тот и подсобить не прочь.

Женщинам хлопот по горло:
жарить, да варить, да печь;
тут уж надо приналечь,
паготовить горы снеди,
чтоб запомнили соседи
дни веселых этих встреч.

Подавались прямо в шкуре
запеченные быки,
карбонада, пирожки,
масаморра... Посередке —
фляга тростниковой водки...
Эх! Мишули те деньки!

Гаучо жил беспечально,
вольно на земле своей.
Ну а нынче? Как зверей,
ловят нас. Лишенным крова,
нет нам выхода иного,
как скрываться от властей.

Сунешься семью проведать,
выследит алькальд-стервец,
и тогда уж ты, беглец,
на спасенье не надейся...
Как веревочка ни вейся,
все равно придет конец.

Коль попался ты им в лапы,
то считай — тебе каюк.
Если не прихлопнут вдруг,
изобьют до полусмерти.
И они ж клянут нас, черти, —
мол, отбились мы от рук.

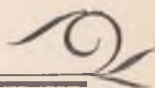
Спину всю исполосуют,
все печенки отобьют;
а водою отольют
после этой обработки —
и забьют тебя в колодки.
Вот каков их правый суд.

Это все еще полгоря,
горе будет впереди.

Милости от них не жди:
с волюшкой велют проститься,
и другого нет пути,
как в отряд и — на границу.

Этот путь и я прошел,
как и многие другие;
вам спою про дни лихие.
Коли побывать в аду
писано вам на роду,
не спасут и все святые.

Песнь третья



Жил и я в своем дому
(не скитался, будто нищий,
в поисках норы и пищи),
да погнажи воевать,
а когда вернулся, глядь —
вместо ранчо пепелище.

Жили мы с женой в достатке:
дом был, утварь и стада.
Как птенцы в тепле гнезда,
мирно подрастали дети...
Нынче я один на свете —
все исчезло без следа.

Как, бывало, в пульперию
вольный съедется народ,
мне там ото всех почет:
сядут в круг, а я в середке,
осушу я чарку водки —
песнь рекою потечет.

Там я раз и начал петь
добрым людям на забаву,
а судья — он, черт лукавый,
случая давненько ждал —
стражников туда прислал.
Угодили мы в облаву.

Те, кто были половчее,
прыг в окно — и наутек;
ну, а мне и псевдомек:
за собой греха не видел,
сроду мухи не обидел.
И попался я в силоч.

Много было пас. Был гринго
с обезьяной и шарманкой;
над плясуньей обезьянкой
хохотал до слез парод.
Славно началась гулянка,
да худой был оборот.

Был там землекоп-поденщик,
как слышал я от ребят, —
беглый *аглицкий* солдат;
видно, ум имел он здравый:
быть солдатом во сто крат
хуже, чем копать канавы.

Взяли всех под караул,
словно мы — злодеев шайка;
им что гринго-попрошайка,
что певец... Забрали враз.
Спасся лишь один из пас:
спрятала его хозяйка.

Сбили всех в один табун,
и такое нам решение:
в пограничном ополчении
срок придется отбывать.
Ну, дела! Ни дать ни взять —
дьявольское наваждение.

С выборов еще последних
зол был на меня судья:
ведь голосовать-то я
и взаправду не являлся.
Как он рявкнет: «Ах, свинья!
Ты в *пузицию* подался?»

Тьфу! В чужом пиру похмелье!
Мне плевать на них на всех.

Этих выбирать иль тех —
все едино: ихний «список»
не наполнит наших мисок,
не заштопает прорех...

Напоследок насулили
всяких небывальщин нам.
Повторил раз десять сам
наш судья — наврал, проклятый:
«На шесть месяцев, ребята,
а потом — все по домам».

Оседлал я вороного.
Вот конек был — ей-же-ей,
лучших я не знал коней:
с ним на скачках в Айякучо
денег выиграл я кучу.
Конь для нас всего главней.

Я навьючил вороного
всем накопленным добром:
пончо взял, стянул ремнем
войлоки да одежонку...
И свою оставил женку
почитай что нагишом.

Сбрую всю свою и снасть
прихватил я в путь-дорогу:
лассо, болас, хлыст, треногу...
Полной чашей был мой дом.
Верьте, нет, но я, ей-богу,
не всегда был бедняком.

Потрусил на вороном
я с оружием и поклажей
в пограничный форт. Под стражей.
Прибыли мы. Что за черт!
Да неужто это форт?
Он норы крысиной гаже.

Зароптали, кто постарше,
не жалели крепких слов;
по один из крикунов
по приказу офицера

был растянута для примера
между четырех столбов.

А начальник объявил нам
о приказе о своем:
беглецов хватать живьем
и — полтысячи горячих.
Дескать: «С них, детей собачьих,
шкуру заживо сдерем».

Нам не выдали оружия,
а что было — отобрали
для хранения в арсенале:
мол, обратно отдадут,
коль индейцы нападут.
Тут и крикуны смолчали.

Били мы сперва баклуши,
а потом за нас взялись:
ну, солдатики, держись!
Душегубам да ворюгам —
тем была бы по заслугам
эта каторжная жизнь.

Нас плашмя лупили саблей
по плечам да по хребту;
а смолчать невмоготу —
будет разговор короткий:
упекут тебя в колодки
на лихую маету.

Где походы на врагов?
Где казармы, где учепья?
Знай в полковничьем именье
новобранец спину гнет.
Ежели мы ополченье,
кто ж тогда рабочий скот?

Сеял, жал и молотил я,
хлеб ссыпал я в закрома,
клат кирпичные дома,
глину мял, сучил веревки,
из соломы плел циновки...
И все это — задарма!

Если ж кто из нас, озлобясь
от такой лихой судьбы,
становился на дыбы,
он потом не рад был жизни!
Взяли нас служить отчизне,
а попали мы в рабы.

Минул год. А что ж индейцы?
Днем и ночью мы в трудах,
а они, возьми их прах,
начали шалить и скоро,
видя, что им нет отпора,
вовсе позабыли страх.

Нам разведка приносила
новости день ото дня:
тут вот — резали коня,
там вон — вся земля изрыта,
отпечатались копыта...
Да, индейцы — не брехня.

Общий сбор нам объявили.
Чуть прикрыты мы тряпьем,
на одном коне вдвоем,
без оружия и без седел.
Коли вправду враг нашкодил,
то-то мы его пугнем!

Нам устроили *манервы*,
поднялась тут суета,
только я скажу спроста —
понапрасну мы потели:
наш капрал в военном деле
сам не смыслил ни черта.

И оружия наконец
дали малую толику;
кто взял саблю, кто взял пику.
Ружья нам хотели дать,
только вышла закавыка —
печем было заряжать.

Спьяну выболтал сержант:
был и порох, мол, и пули,

да начальники смекнули
про охотничью нужду, —
наши пули — для косули,
весь наш порох — для ньянду.

Как прослышим, что индейцы
учинили где грабеж,
мы за ними. Только что ж, —
зряшная была возня:
до индейского копя
саблей разве досягнешь?

Где индейцы побывали,
словно буря там прошла.
Горя сколько, сколько зла!
Как нагрянут их отряды,
тут уж не проси пощады:
все крушат и жгут дотла.

Убивают без разбора
и детей и стариков.
Мстя за кровь своих отцов,
мчат индейцы с воплем, с гиком
и в остервененье диком
копьями разят врагов.

Сеет страх свирепый воин.
Слившись со своим конем,
он песется напролом;
повод, изготовясь к бою,
левой стиснул он рукою,
правую занес с копьем.

Скачут из глубин степей;
голод, жажда, утомленье
нипочем: терпеть лишенья
им в привычку искони.
Словно муравьи, они —
днем ли, ночью ли — в движенье.

Как индеец мечет болас!
Ежели уходит враг, —
не достать копьем никак, —
он метнет шары вдогонку,

лошадь сразу оземь шмяк,
и копые — врагу в печепку.

Краснокожий что кремень:
нет в нем слабости и страха.
Он живуч, как черепаха:
ты насквозь его проткнешь,
ну, готов... а он с размаха
в спину тебе всадит нож.

Как нагрянут на поселок,
им раздолье: грабят, жгут,
женщин — тех в полон берут.
Пленницам, чтоб не сбегали,
кожу со ступней сдирали;
сам не видел, может, врут.

Слушали, глядели мы —
и в груди у нас кипело.
Мы вдогон кидались смело
по тревоге. Только вскачь
не подымешь наших кляч.
Догонять — пустое дело.

Так, не солоно хлебавши,
мы и возвращались вспять.
А случалось нам нагнать
и вернуть скотины малость,
скот начальство ухитрялось
на сторону продавать.

Без толку мы все гонялись
за индейцами. Но раз
пощипали они нас,
и отряд наш после встряски
выезжал не без опаски.
Там и я чуть не увяз.

Вышло это так: индейцы
притаились за холмом, —
дай-ка, мол, солдат пугнем,
гаучо — он трус, раззява.
Едем мы... вдруг — шум и гром!
И на нас — врагов орава.

Хоть застигнуты враслох,
мы не робкого десятка, —
накопец-то будет схватка.
Выстроились, примем бой.
А индейцы похвальбой
нас стращают для порядка.

Рипулись они в атаку,
аж земля тут затряслась.
Хоть не трусил отродясь,
дрогнул, услышав их крики:
конь мой был пугливый, дикий,
вдруг лицом ударю в грязь?

Оглушил нас конский топот,
ржапье, вопли, шум и гам
(верещать на страх врагам
у индейцев в обиходе).
Прут как бешеные, вроде
смерть сама несется к нам.

На конях своих ретивых
наш они прорвали строй,
в свалку превратился бой.
Дикари того и ждали,
жертву с лету выбирали:
этот — твой, а этот — мой.

Выпустит индеец мигом
из тебя все потроха.
Что уж тут таить греха:
мы неслись — все силы в шпорах, —
ровно голуби, которых
ястреба крушат с верха.

Кто из нас копьём владеет,
как индеец? Испокон
в этом деле он силен.
Раз попали в передрягу,
тут сам бог велит дать тягу:
не попрешь, брат, на рожон.

В этой жаркой суматохе
вдруг один головорез
мчится мне наперерез.

*«Христианская собака! —
он вопит. — Тебе конес,
это твой последний драка!»*

И копьём он замахнулся,
вижу — метит прямо в грудь,
поровит насквозь проткнуть...
Вот ведь не было печали!
Кабы я помешкал чуть,
тут уж помишай как звали.

Оплошай я, день бы этот
был моим последним днем.
Сроду не был драчуном,
но уж тут меня приперло:
сердце, словно жабье горло,
заходило ходуном.

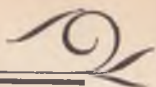
Болас отцепил я вмиг —
я на это дело спорый, —
как коня огрею шпорой!
Бешено скакнул он вбок...
Мой отчаянный бросок
спас меня от смерти скорой.

Да, язычник — был, кажись, он
ихнему вождю родня —
срезал бы в тот день меня,
как срезают спелый колос,
если б я, метнувши болас,
не ссадил его с коня.

Спешился я — и к нему:
хватит, дьявол краснокожий,
горло драть да корчить рожи!
Кончил с ним я без помех.
Убивать людей негоже,
но уж тут был грех не грех.

На его коня вскочил я...
К счастью, из врагов никто
не был рядом, а не то
вмиг меня бы эти черти
превратили в решето.
Был я на волос от смерти.

Песнь четвертая



Что ж, пожалуй, стану дальше
свой разматывать клубок.
Сбереженный в тот денек
от разбойников судьбою,
как я сам пришел к разбою?
Расскажу вам, дайте срок.

Нам за службу полагалось
жалованье. Да куда!
Исчезала без следа,
не дойдя до нас, монета:
видно, застревала где-то.
Заедала нас пужда.

Нищенским своим обличьем
устрашали мы людей.
В жизни каторжной моей,
полной бедствий и скитаний,
я ни раньше, ни позднее
не видал подобной рвани.

Не имел я ни рубашки,
ни подобия ее,
ветхое носил тряпье.
Из такого я, бывало,
трут готовил для кресала.
Чем не барское житье?

Пончо, седла, потники,
и уздечки, и седелки —
все сменяли мы в поселке
на табак да на маис.
Озверели, будто волки,
мы от голода и крыс.

Я ворсистую попону
выиграл однажды в бабки.

Щеголял я в этой тряпке —
как-никак, а потеплей.
Сколько в ней гнезилось вшей!
Вши — они ведь тоже зябки.

Все ж бодрился я, покуда
копь мой верный был со мной;
только день настал лихой,
и начальник наш придумал:
плохо жеребца кормлю, мол, —
тут и сгинул вороной.

Вам страдания такие
не представить нипочем:
пеший, чуть не нагишом,
битый, мученый, без денег...
Будь я вор или мошенник,
хоть бы знал, что поделом.

Так за месяцем шел месяц,
минул год, пошел второй, —
перемены никакой.
Ох, и было же нам тошно!
Знать, терзали нас нарочно
этой горькой кабалой.

Изредка нас отпускали
поохотиться. С зарей
выезжали мы гурьбой,
прихватив болеадорас;
попадались нам порой
то ньянду, то дикий порос.

К вечеру мы возвращались,
измочалив лошадей;
перья, шкуры — наш трофей —
мы несли, понятно, в лавку,
брали там к пайку прибавку —
водки, табаку, харчей.

Лавочник дружил с начальством
и в торговле был мастак.

Мате нам давал, табак;
угодишь ты самодуру,
выложит тебе за шкуру
и серебряный кругляк.

Лавка — дрянь: четыре фляги
да порожних два бочонка,
но торговлю вел он тонко —
все там мог найти наш брат.
Пуст был провиантский склад,
но полным-полна лавчонка.

«Чудотворцем» окрестил
этого проныру кто-то.
Торговал он без просчета
и лихву такую греб!
У него, у живоглота,
знать, был страусовый зоб.

Не обманешь — не продашь,
все кабатчики дяляги,
но до нашего плутяги
где уж им: десятки фур
перьев вывез он и шкур
за свои четыре фляги.

По уши в долгу мы были:
все-то он до мелочей
в книге проставлял своей.
Жалованья ждали-ждали,
да и ждать уж перестали:
запропал наш казначей.

Так и не приехал к нам
от правительства посланец,
сгинул начисто, поганец.
Время шло... Но вдруг майор
объявляет общий сбор:
будут, мол, давать аванец.

Кто с долгами расплатился,
кто вернул себе назад
вещи, сданные в заклад...

Лавочнику перенало
барыша в тот день немало,
поднажился этот хват.

Что мне лезть? Стоял в сторонке,
на жердину опершись,
думаю себе: крепись!
Стадо, что ли, тут какое
сгрудилось у водопоя?
Вызовут, не торопись.

Только правду вам сказать,
я, приросши к той жердине,
ждал бы вызова поныпе...
Слышу — кончился галдеж.
Обошли меня? За что ж?
По какой такой причине?

Аж внутри захолонуло.
Как так? Надо разузнать.
Я — к майору. Он, видать,
был не в духе, глянул строго;
я спросил его с порога:
«Мне что — завтра получать?»

«Завтра? — рывкнул он в ответ, —
Свиньи! Эх вас разобрало.
Сколько вам ни дай, все мало».
Я в затылке почесал:
«Мне ж никто не выдавал
ни единого реала».

Выпучил глаза он, будто
съесть меня хотел живьем,
глянул в книгу, а потом
вскинулся с истошным визгом:
«Ты не числишься по спискам!
Зря мы денег не даем».

Так и есть, подумал я,
все треклятые бумаги:
обдурить хотят, бродяги.
Здесь я около двух лет,
в каждой жаркой передрыге
налицо, а в списках — нет!

Только этих дерзких мыслей
не услышал наш майор:
затевать с начальством спор
для простых людей рисково.
И, не вымолвив ни слова,
выкатился я во двор.

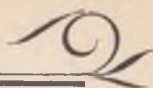
Утром вызвал гарнизонный.
Речь повел такую он
(знать, в политике силен):
«Росас был тиран, а ныне
произвола нет в помине,
есть порядок и закон».

Он позвал капрала. Тут
потекли рекой чернила:
сколько, мол, служу, что было
из имущества с собой,
копь гнедой иль вороной,
жеребец или кобыла?..

Шло дознание для блезиру,
так, пустая канитель:
денежки-то в свой кошель
положили, сучьи дети.
Хлопотать? Схлопочешь плети:
я один, а их — артель.

Так жирела и жирела
эта шайка обирох
от несчастных наших крох.
Воры! Довели солдата:
с голодухи я иссох,
и — ни курева, ни мате.

Словно малый страусенок,
что отбился от своих,
рвался я в силках тугих.
Чтобы уцелеть, для виду
я смирился и притих,
затаив в душе обиду.



Я отчаялся и твердо
порешил удрать домой.
Словно радости какой,
ждал я вражьего набега:
в суматохе боевой
будет случай для побега.

Пограничные войска?
Эх! Не служба, а издевка.
Одурачили нас ловко!
Да, Мартин, попался ты:
это просто мышеловка,
что поставили коты.

Сплошь вранье, во всем обман.
Люди в ополчение взяты,
а какие мы солдаты?
Жди, когда нагрянет враг.
А покуда ты — батрак,
только безо всякой платы.

Тут начальники, понятно,
руки греют без помех:
завелись у них у всех
скот, работники, хозяйство.
И такие негодяйства
там творились — вспомнить грех!

Сидя на своем добре,
в деле воинском ослабли:
глотки — прорвы, руки — грабли.
Чтоб исправно службу несть,
что иметь ты должен? Честь.
Чем владеть? Конем да саблей.

Понял я, что кровососы
мне свободу не вернут.
Нынче ль, через год ли — тут
и схоронят бедолагу.

Лучше уж рискнуть, дать тягу,
может статься, не сгребут.

Вышел мне вдобавок штраф:
часовому-бедокуру
что-то показалось сдуру —
шум поднялся, руготня...
И распялили меня,
как сырую бычью шкуру.

С поля возвращался к форту
я однажды в поздний час,
караульный же как раз
был в подпитии изрядном
и во мраке непроглядном
обознался с пьяных глаз.

С этим гринго столкнуться
мог бы разве духовник:
так коверкал он язык.
Звал себя *по-по-литанец*,
но, вернее, он, погапец,
пехристь был иль еретик.

Стало быть, в ту ночь стоял он
у заставы на часах.
Спьяну-то меня впотьмах
не узнал и всполошился;
за его дурацкий страх
я потом и поплатился.

Сослепу как завопит он
мне навстречу: «*Кто идьет?*»
Я в ответ: «Сам идиот».
Он мне: «*Говори пароля!*»
Я ему: «Тебя пороли?»
Что ж тут хвастать, обормот!»

Вдруг я вижу, — ах ты, дьявол! —
он схватился за ружье.
Вот хмельное дурачье!
Кабы спьяну не промазал,
не внимали б вы рассказам
про мое житье-бытье.

Выстрелом, само собой,
поднял дуралей тревогу.
Выскочили на подмогу
офицеры. Суд был прост:
караульному — на пост,
мне — на плац. Зазря, ей-богу!

А на том плацу — четыре
в землю загнанных штыка.
Уперся майор в бока —
он и сам-то был хмельненок:
«Ну-с, поучим дурака,
как ходить да кланчить денег».

К четырем штыкам — четыре
сыромятные ремня:
так распялили меня,
стало небо мне с овчинку...
И честил мерзавца гринго
я всю ночь до бела дня!

И зачем их, чужаков,
к нам на службу нанимают?
Ничего не понимают,
не умеют ни черта;
неразумнее бывают
бессловесного скота.

Гринго — рохля и раззява.
Ни тебе взпуздать конька,
ни загнать в корраль быка,
ни свернуть, ни бросить лассо,
ни освежевать телка,
ни изжарить в углях мясо.

Целый день они в безделье,
только чешут языки,
ждут, как барские сынки,
кто б изжарил им асадо.
Тут их подгонять не надо:
жрать все гринго мастаки.

Млеют в зной, трясутся в стужу.
Денег жаль им на табак,
норовят стрельнуть «за так»;

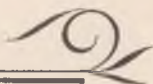
иногда из-за окурков
доходило и до драк.
Стыд глядеть на полудурков.

В непогоду трусят, будто
псы, услышавшие гром.
Не подбить их ничем
на лихое предприятие;
не имеют и понятия
о житье-бытье степном.

Гринго смотрит, да не видит,
к звукам пампы не привык;
каждый шорох, топот, крик
может гринго огоршить.
Страус пробежит, он: «Лошадь!»
Пронесется конь, он: «Бык!»

Если вышлют на индейцев,
гринго уж наверняка
забоится пустяка,
повернет и в форт поскачет.
Ждать от гринго службы — значит,
от козла ждать молока.

Песнь шестая



Жизнь моя — черед несчастий,
но теперь я поведу
речь про злейшую беду.
Ежели страданье гложет,
человек молчать не может:
песней душу отведу.

В эту пору из округи
наших ратников опять
к форту начали сгонять.
По каким таким причинам?
Мол, в *спедицию* идти нам,
краскокожих усмирять.

Мол, в походе не нужны
ни быки нам, ни двуколки.
Как индейские поселки
в прах сотрем, заплатят нам
и распустят по домам.
Вот какие были толки.

Ждет нас верная победа,
так начальник нам сказал.
Дескать, едет генерал,
сам дон Ганса. Кто такой оп
и великий ли он воин —
ни один из нас не знал.

Будто соберет он войско
да и двинет нас в поход;
пушки он с собой везет,
да, поди ж ты, не простые,
как бишь звать их — нарезные.
Вот придумал, сукин кот!

Мне-то что? Ну, пусть приедет
к нам столичный пустопляс...
Ладно уж морочить нас!
Эко диво — нарезные,
сам, случилось, в пульперии
нарезался я не раз!

Думали вы, обещаьям
так я и поверю вдруг?
Вырвусь сам из ваших рук,
не трусливый я, не хилый.
Гаучо не сломишь силой,
не возьмешь и на испуг.

Сызмальства к труду привычный,
в господа не лез я, что ж,
чем мой жребий нехорош —
жребий трудовой, бедняцкий?
Но на каторге солдатской
стало вовсе невтерпеж.

В жизни быть мне доводилось
только зайцем да борзой.

Пусть я человек простой,
все же так смекаю вроде:
должен печься о народе
тот, кто вознесен судьбой.

Как-то ввечеру засели
гарнизонный да судья
за бутылкой. Понял я,
что мое приспело время:
хватать копя — и ногу в стремя.
Здравствуй, волюшка моя!

Пампа, ты мое раздолье,
ширь бескрайняя да гладь,
ты передо мной опять.
Днем ли, ночью — здесь я дома,
все мне любо, все знакомо,
славпо жить, легко дышать.

В пампе гаучо — хозяин.
Кто в ней вырос с малых лет,
знает множество примет.
А не то (бывает всяко)
я и нюхом, как собака,
нападу на верный след.

Голодрапец, *дезеньгир*,
пусть, а все-таки на воле!
Хоть три года — нет, поболе —
не бывал в родном дому,
не сыщу дороги, что ли,
я к жилищу своему?

Где же ты, родное ранчо?
Только угли да зола...
Боль мне сердце обожгла.
Господи Исусе... Ладно!
Буду мстить я беспощадно,
не прощу такого зла.

С горя тут любой из вас
зарыдал бы в голос тоже,
хоть мужчинам и негоже.
Свет в глазах моих померк.

Был мне этот день, о боже,
как тебе страстной четверг.

Вдруг почудилось мне, будто
кто-то жалостно зовет:
это замяукал кот.
В заячьей щеле, поди-ка,
укрывался горемыка,
ждал — хозяин, мол, придет.

Как своих я покидал,
думал, что до скорой встречи.
(Эх, простак был, человеке,
что поверил ты судьбе!)
И легли жеке на плечи
все заботы о семье.

Вскорости — как от соседа
я потом узнал — пришли
выгонять ее с земли.
Уплатить аренду надо,
то да се... Все наше стадо
(дескать, за долги) свели.

Чем же мать детей прокормит?
Поневоле пареньки
подались тут в батраки;
так с родным гнездом простились
молодые голубки,
хоть еще не оперились.

Рано мачеха-судьба
их толкнула на скитанья.
Старший брат в час испытанья
не оставит малыша.
Может, добрая душа
даст им кров и пропитапье...

А жена? Где ты, голубка?
Поначалу воропье
грабило гнездо мое,
а потом — шасть ястреб с неба.
Ей кусок был нужен хлеба,
я ж не мог кормить ее.

У одних во всем излишки,
у других нет и рубашки;
как ей было жить, бедняжке,
коли денег — ни полушки
и скотины — ни телушки...
Голод — он не даст поблажки.

Коль нам свидеться, голубка,
не судьба, пускай господь
даст тебе защиту! Хоть
глух он был к моим молениям,
шлю я вам благословенье,
дети, кровь моя и плоть!

Налетел суровый ветер,
подхватил вас и понес.
Много будет горьких слез
в жизни вашей, мальчуганы.
Ежели бы для охраны
был при вас хоть верный пес!

У бедняжек нету крова,
чтоб от бури им укрыться,
нет куска, чтоб прокормиться,
нет огня, чтоб отогреться,
нет рубашки, чтоб одеться,
нету пончо, чтоб накрыться.

Сердце поет, лишь помыслю,
как их доля нелегка:
кто приветит бедняка,
посочувствует страданью?
Чаще прогоняют с бранью
от чужого очага.

И, поджавши хвост, понуро,
словно бы щенки, к примеру,
сыновья Мартина Фьерро
будут кланяться сеньору...
Больше было бы им впору
сунуться к зверью в пещеру.

Но в игре нечестной этой
я участие сам приму;

хоть чужого не возьму,
а свою взыщу я долю.
Впредь себя уж никому
заарканить не позволю.

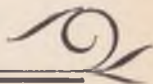
И бесхитростно и тихо
жил я, но изведал лиха,
и теперь меня не трожь!
Распознал людей я ныне,
и меня не проведешь,
как бывало, на мякипе.

Да, я мучен и учен,
видел жизнь со всех сторон.
Знаю, как плетутся сети
чинодралов-заправил,
и не пожалею сил,
чтоб силки распутать эти.

Кто — родимый край покинул,
кто — смирился и притих,
я же для врагов лихих
стал страшнее ягуара:
мщю безжалостно и яро
за детенышей своих.

Кое-кто нас почитает
за скотов, не за людей,
нам все горше, все трудней.
Все же, как тебе ни худо,
бедный гаучо, покуда
кровь есть в жилах — не робей!

Песнь седьмая



Я не знал, куда податься,
всюду лишний, всем чужой.
Потому как был я беглый,
стража рыскала за мной.

В полымя, Мартин, как видно,
угодил ты из огня.
Стать бродягой — только это
и осталось для меня.

Кто такой я? *Дезеньтир!*
Ранчо нет, жена пропала,
жалкое тряпье на теле,
в поясе — нет ни реала.

Курева и то не видел
я не счесть уж сколько дней...
Хоть изъездил всю округу,
не нашел я сыновей.

На беду, прослышал раз я,
что в селении одном
будут танцы, и подумал:
что ж, и мы туда махнем.

Там друзей я встретил старых,
о себе поведал им;
ну, понятно, угостили,
и нарезался я в дым.

Забуянил я, хоть прежде
смирен во хмелю бывал.
Вижу, негр и негритянка,
к ним я сдуру и пристал.

Ничего-то негритянка
мне не сделала худого,
только выпалил я спьяну:
«Ишь! П-п-пустилась в п-п-пляс,
к-к-корова!»

Глянула она с презреньем
и сказала: «Ишь срамник!
Видно, мать его корова,
что бодливый он, как бык».

И пошла, махнув подолом,
гордо, что твоя сеньора,
только засверкали зубы,
белые, как масаморра.

Я сказал: «Из черной кожи,
эх, и вышло бы седло!»
И куплетец всем известный
затянул я ей назло:

«Господом был создан белый
и святым Петром — мулат,
а из адских головешек
черт наделал негритят».

Негр озлился не на шутку —
ведь придрался к ним я зря;
на лице глаза сверкнули,
как во тьме два фонаря.

Я очнулся: что ж я людям
нагрубил в хмельном пылу?
«Плюнь, мол, на слова, не думай,
что сказал я их ко злу».

Парень аж подпрыгнул, будто
нож в кишки ему вошел:
«Что? *Козлу?* Ах ты, паршивец!
Сам вонючий ты козел!»

На меня он с кулаками...
Драться? погоди, сейчас, —
и, примерясь, я кувшином
треснул парня между глаз.

Хрюкнув, как кабан, от боли,
привалился он к стене.
Вдруг как выхватит он ножик
да как бросится ко мне!..

Увернулся я и крикнул:
«Ишь, бычок вошел в игру!
Я не от тебя родился
и не от тебя помру».

На руку набросив полчо,
он ответил мне: «Ну что ж,
это мы сейчас проверим,
может, от меня помрешь».

Тут штаны мы подвернули,
живо отцепил я шпоры,
видно, впрямь дошло до дела —
не пустые разговоры.

От опасности трезвеешь.
Был хоть здорово я пьян,
сразу же окрепли ноги
и слетел хмельной туман.

Парень, заскрипев зубами,
кинулся, как ягуар.
Дважды он пожом ударил,
дважды я отвел удар.

Был при мне мой неразлучный
с лезвием стальным факон,
я на негра замахнулся,
отразил удар и он.

Тут по голове курчавой
я плашмя хватил в сердцах;
закачался он и еле
удержался на ногах.

Но очнулся, и, хоть струйкой
с темени стекала кровь,
он с удвоенною злобой
ринулся в сражение вновь.

Ослепленный блеском стали,
я моргнул, и удалось
негру пропороть мне щеку
кончиком ножа насквозь.

Я вскипел и стал работать
лезвием и острием:
мне тебя, мол, черный дьявол,
в ад отправить нипочем!

Бился я в остервененье
все отчаянней и злей.
Р-раз! Попал... И враг мой наземь
рухнул, как мешок костей.

Вздрогнувши последней дрожью,
приказал он долго жить.
И того, как помирал он,
мне вовек не позабыть.

Подбежала негритянка,
посерела аж с лица,
кинулась на мертвеца
и завыла, как волчица.
Мог бы тут я рассердиться,
плюхой мог заткнуть ей рот,
да подумал: что я, скот,
нехристь я или разбойник,—
драться, где лежит покойник?
Пусть, бедняга, поревет.

Я факон отер травую,
молча отвязал коня,
сел в седло и ехал шагом
вплоть до наступленья дня.

Мертвеца зашили в шкуры
и засыпали землей,
и никто над ним молитвы
не прочел за упокой.

В ночи ясные, как слышно,
там блуждает огонек:
стало быть, успокоенья
дух его найти не смог.

Чтоб не мучился несчастный,
надо мне его отрыть
и останки честь по чести
на кладбище схоронить.



Как-то раз в одном трактире
вечерок я коротал.
Вдруг к трактиру подскакал
парень франтоватый, бойкий,
сразу видно — грубиян:
у ворот с коня не слез,
прется с ходу под навес.
Я молчу, стою у стойки.

Был он местный забияка.
Все ему сходило с рук,
потому что был он друг
ополченского майора.
Обожал он задирать
всех окрестных бедолаг,
знал: пеон или бедняк
не дадут ему отпора.

Он не думал, не гадал,
что́ ему готовит случай!
Время смерти неминучей
нам провидеть не дано.
Так уж мир наш сотворен:
люди словно бы незрячи,
беды ждут нас иль удачи —
все для нас темным-темно...

Спешился, толкнул пеона, —
знайте, мол, мою отвагу, —
выпил, мне подвинул флягу:
«Эй, зятек, хлебни со мной!»
Я в ответ: «Зятек? Не помню,
спал ли я с твоей сестрой».

«Гаучо, — сказал мне он, —
видно, жизнь тебе постыла?
Что ж, найдется здесь могила.
Больно дерзкий твой язык;
уж не вякать бы теленку,
коль мычит в коррале бык!»

Мы схватились. Был он ловкий,
легкий на ногу креол,
пу, и сам я не тяжел...
Поплясал с ним для сугрева
и лихим ударом слева
брюхо паглицу вспорол.

Повстречаться с правосудьем
я не больно-то желал.
Как он лапы вверх задрал,
как заверещал кабатчик
(мол, разбою не потатчик),
я раздумывать не стал.

Раз, через забор! В седло!
Поручил себя я богу
и пустился в путь-дорогу,
унося из этих мест
боль мою, мою тревогу.
Век скитаться — вот мой крест.

Прячься — нищий и гонимый,
будто проклят навсегда:
ни норы нет, ни гнезда.
Ты ведь гаучо, — за это,
как за самый страшный грех,
сжить хотят тебя со света.

Ты — одер: кто оседлает,
на того и гнешь хребет.
Ты рождаешься на свет,
словно деревцо степное:
ни от бури, ни от зноя
для тебя укрытья нет.

Окунет монах в купель,
в поучение добавит:
«Бог на путь тебя наставит».
Вот и все — и ты пошел
колесить по белу свету,
как навьюченный осел.

Ты дрожишь под зимним ветром,
как ничейная овца;

вырастаешь без отца:
он в солдатской злой неволе.
Чьи своей сиротской долей
ты растрогаешь сердца?

С горя ежели хлебнешь,
скажут — «гаучо-пьянчуга».
Коль пошутишь в час досуга:
«Гаучо, мол, грубиян».
Сдачи дашь врагу — «буян»,
а не дашь — и вовсе туго.

Ни подруги, ни детей,
ни защиты, ни опоры,
все-то над тобой сеньоры,
друга нет, хозяев тьма.
Словно вол ты бессловесный.
«Вол, куда ж ты без ярма?»

А сбежишь, почуй в чащобе
да скитайся среди степей.
Коли (с голоду, ей-ей)
заарканишь ты теленка,
за тобой начнется гонка:
ты — «злой гаучо», «злодей»!

И когда найдешь конец
ты в кабацком шуме-гаме
с выпущенными кишками,
ни молитв тебе, ни слез:
будешь ты зарыт, как пес,
в первой придорожной яме.

Мир в стране или война,
нам и так и эдак худо:
голосу простого люда
не внимают небеса
и правители... покуда
не нужны им «голоса».

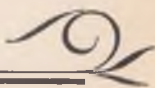
Ждут тебя тюрьма, острог,
не доищешься ты правды.
Будь хотя и трижды прав ты,
беден — значит, виноват.

Колокол твой — деревянный:
кто услышит твой набат?

Стерпишь — «гаучо-скотина»,
вспыхнешь — «гаучо-бандит».
Мало, дескать, был он бит,
вдарь-ка, всышь ему погуще!..
Гаучо! Эх, хуже нет
этой доли проклятущей.

Ах ты, жребий мой лихой,
ах ты, жребий злополучный,
мы с рожденья неразлучны,
так пойдем с тобой вдвоем,
я дорогу для обоих
проложу своим пожом.

Песнь девятая



Став мятежником, держался
я подальше от жилья.
Если ж подкормиться я
заезжал порой на ранчо,
озирался, как каранчо:
нет ли близко солдата?

Если гаучо пошел
с горя по худой дороге,
вечно он живет в тревоге
и петляет, как лиса:
унести бы только ноги
от охотничьего пса.

В сумеречный час, когда
ночь близка и все живое
ищет сонного покоя,
вез я долюшку мою
по лугам да по релью
на пристанище ночное.

Ежели ягненок блеет,
откликается овца;
вторит ржанью жеребца
громкое кобылье ржанье;
лишь рыданье беглеца —
безответное рыданье.

Где бы ни был днем, а к ночи
я пускался в путь-дорогу:
может, разделю берлогу
я с каким-нибудь зверьем, —
не хотелось к людям в дом
приносить с собой тревогу.

Вдруг полиция нагрянет?
Я для стражников злодей,
стало быть, хватай да бей, —
что ж, мне им живьем сдаваться?
Гаучо не станет драться
среди женщин и детей.

На ночь я искал в степи
логова, как пес бродячий;
ждал, как редкостной удачи,
брошенного шалаша,
а не то — мне хороша
будет и нора вискачи.

Гаучо, как привиденье,
рыщет на своем коне
в полуночной тишине
по равнинам, сном объатым;
но уж в пампе-то солдатам
не накрыть его во сне.

Смелость — вот его надежда,
осторожность — вот закон;
от врагов он защищен
только милосердьем бога,
резвый конь ему — помога,
верный друг ему — факон.

Так я думал звездной почью.
Звезды — утешенье нам,

тем, чью душу по ночам
бередит кручина злая.
Видно, бог, их создавая,
в них искал утеху сам.

И с надеждою глядишь
ты на огоньки живые.
В пампе в ночи грозовые
заплутаешься, по чуть
вдруг проглянут Три Марии,
сразу же найдешь свой путь.

И немногого тут стоят
грамотей «доктора».
Хоть наука и хитра,
степь ей не дается в руки,
гаучо не по науке
знает пампу, — от нутра.

Ох, и часто грусть-тоска
по ночам меня томила:
хоть бы чья душа делила
одиночество мое!
Рядом-то одно зверье
да небесные светила.

Так и в эту ночь: один
ветру жалобы вверяю,
а вокруг-то тьма без краю,
ночь пустынна и тиха...
Чу!.. Вдали кричит чаха!
Сразу уши наостряю.

Слушаю, к земле прикинув:
пампа вдалеке звенит
под ударами копыт.
Если есть житейский опыт,
то тебе и конский топот
лучше слов все говорит.

Поневоле ты сторожкий,
ежели властям ты враг.
Распластавшись, как червяк,
слушаю. Проходит время...

В топоте копыт вдруг — бряк!
Сабля стукнула о стремя.

Едут молча. Неспроста.
Ищут, стало быть, кого-то.
Может, на меня охота?
Ладно, намотал па ус.
Только гаучо не трус,
удирать мне неохота.

Осенясь крестом, отпил я
водки добрых два глотка:
коль тверда твоя рука,
так на пользу будет чарка.
Мол, согреюсь сам, пока
мне от них не стало жарко.

Шноры снял, чтоб не мешали,
пояс ту же затянул
и штаны я подвернул.
Чтобы испытать факон,
хорошо ли наострен, —
я тростинку резанул.

Лошадь привязал к кусту,
чтоб она мне пособила:
ведь врагов, должно быть, сила!
в схватке прислонясь к коню,
тем себя обороню
я от нападения с тыла.

Темнота... Но топот близко,
не минуют, жди не жди.
Каюсь, екнуло в груди,
все-таки я крикнул громко:
«Вот он — я. А то в потемках
не заметите, поди».

Я хотел им показать,
с кем они имеют дело:
что мужчина встретит смело
появление врагов,
что душа не оробела,
что к сраженью я готов.

Слышу голос: «Ты преступник:
с форта совершил побег
и убил двух человек.
Больше не бывать разбою,
выслан нынче за тобою
полицейский наш отряд.
Берегись — прихлопнем, брат.
Лучше сдайся-ка без бою».

Я ответил им: «Вы бросьте
толковать о мертвецах,
не тревожьте мертвый прах.
Больно много у вас прыти,
разве я у вас в руках?
Вы меня сперва возьмите».

Спешилась вся их команда.
Загнан зверь и окружен:
гончие со всех сторон.
Душу поручил я богу,
всех святых призвал в подмогу
и схватился за факон.

Я сперва увидел вспышку,
гулко грохнул *гарабин*.
Промахнулся, чертов сын.
Больше он стрелять не станет,
да и на поги не встанет.
Так-то. Недурной почин.

А второй расправил болас,
только врешь — кишка тонка:
кончиком ножа слегка
я пощекотал парнюгу, —
он шарахнулся с испугу,
как собака от пинка.

Бестолково (знать, впервой
им сражаться выпал случай)
на меня пошли всей кучей;
в суетне да толкотне
сами помогали мне —
перли на факон колючий.

Отделившись от других,
двое на меня напали;
саблями они махали
вроде бы и половчей,
были в яростном запале
злее гончих кобелей.

Малость отступив для вида,
пончо я с руки сронил;
только на него ступил
новичок в задоре пылком,
дернул я что было сил,
он и грянулся затылком.

А второй, один оставшись,
живо растерял всю прыть;
тут я стал его теснить,
и ему пришлось бы худо,
только понял оп, паскуда,
что разумней отступить.

Глядь, напер еще один
с длинной тростниковой пикой
(знать, от храбрости великой).
Я, перерубив тростник,
крикнул: «Я тебе не бык,
пикой ты меня не тыкай!»

Вижу, зорька заалела.
В мыслях к деве пресвятой
обратился я с мольбой:
«Коль из этой заварухи
нынче вылезу живой,
не обижу впредь и мухи».

И как прыгну прямо в гущу:
не уйдешь ведь от судьбы.
Изготовясь для борьбы,
встав потверже, поплотнее,
круг факаном по земле я
прочертил — из похвальбы.

Только первый замахнулся,
чтобы саблей рубануть,

дал ему я локтем в грудь,
и, припавши на колени,
я успел ему швырнуть
ком земли с размаху в зенки.

Охнул он и, сквернословя,
начал протирать глаза;
я сказал: «Пусть небеса
упокоят дух твой грешный.
Не посетуй, друг сердешный».
Ну, и дал ему раза.

Но над ухом в этот миг
чья-то сабля просвистела
и концом меня задела.
Хоть царанина, пустяк,
рассердился я: «Ах, так?»
Сердце у меня вскипело.

Живо отскочил назад я
и, пригнувшись, словно кот,
снова кинулся вперед
на ближайшего солдата.
Что поделать, раповато
с жизнью он покончил счет...

Смерти ждал я. Но господь
изменил мою планиду:
стражник — мой земляк по виду —
крикнул вдруг: «Да он не трус!
Стойте! Слышите вы? Крус
храбреца не даст в обиду».

И напал со мною вместе
он на собственный отряд.
Худо дело для солдат:
дрался Крус, как волк матерый,
защищающий от своры
логово своих волчат.

Двое на него напали,
одного он — наповал,
а другой и сам удрал.

Больше лезть на нас не смея,
расползлись враги, как змеи.
Догонять я их не стал.

Этот ковылял, ругаясь,
тот стонал лишь, недвижим,
мало кто был невредим.
Крус, перекрестившись хмуро,
крикнул: «Скажете своим,
пусть приплюют команду с фурой».

Я к убитым подошел,
на колени повалился,
об душе их помолился,
крест связал из двух жердей, —
скольких я побил людей,
кабы этот грех простился!

Мы сложили их рядком
да и дернули подале.
То ли мертвых закопали,
то ли нет. Всего верней,
там, на месте, до костей
их стервятники склевали.

Дело ясное, что тут
нам понадобилась фляга.
С кем такая передряга
ни случись, не грех глотнуть,
ну а Крус уж как-нибудь
был не трезвенник, не скряга.

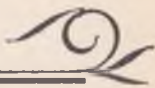
Фляга емкая. Хлебнули —
ехать стало веселей;
так по очереди к ней
мы прикладываться стали,
запрокинувшись, сосали,
словно аист-длинношей.

«Спросишь, друг, куда я еду? —
молвил я. — Куда-нибудь.
Мне судьба укажет путь.
Ну, а если волк двуногий
встанет поперек дороги, —
прочь сумею отшвырнуть.

Я беглец, и нет приюта
для меня в родном краю.
С кем делить печаль мою?
Где укрыться в непогоду?
Только за свою свободу
я еще, брат, постою.

Были у меня до службы
дом, хозяйство и семья,
а когда вернулся я,
бобылем стал неимущим.
Что-то мне сулит в грядущем
горькая судьба моя?»

Песнь десятая



Крус

Ты, дружище, прав: не счесть
горестей простого люда.
Смирный ты — и вовсе худо,
смелый — бьешься ты с судьбой,
огрызаешься, покуда
смерть не справится с тобой.

Не всегда душою плох
тот, на ком плоха одежда.
Коль у нас одна дорожка,
знай, в беде не выдаст Крус.
Раскуси, — на вид лепешка,
может, я пирог на вкус.

Сам хлебнул, признаться, тоже
я горячего до слез,
но какой с бывшего спрос?
Не трусливый, не убогий,
уж не в первый раз я ноги
от погибели унес.

Вывернулся, жив — и ладно,
грусть-тоску гоню я прочь.
Вот до водки я охоч,
как обжора толстопузый
до печеной кукурузы:
мне без выпивки — невмочь.

Я не поддаюсь печали,
радуюсь, что я живой;
коль озноб трясет зимой,
солнышко пригреет летом.
Если ад на свете этом,
не спасешься, ной не ной.

Плачь ли, смейся, будет так,
как судьба распорядится.
Уж на что хитра лисица,
да не век душить курей,
ведь придет пора и ей
с рыжей шкурой распроститься.

Верно, что бедой да горем
начинен у нас пирог,
но тужить-то что за прок?
Разве тем прогонишь горе?
Человек в житейском море
как на волнах поплавок.

Смерть встречалась мне не раз,
только я ей не мирволю,
не ропщу на злую долю.
Ежели ты духом слаб —
смерть не выпустит из лап,
крепок — вырвешься на волю.

Не изгладится вовеки
след пережитых невзгод.
Есть и у меня свой счет,
перенес обид немало.
Что ж! Былое миновало,
завтра новый день придет.

Не бесчувственный я тоже,
не какой-нибудь бирюк;

жил я счастливо сам-друг,
предан был своей голубке,
был пришит я к женской юбке
крепче пуговицы, друг.

На любовную дорогу
каждая тропа ведет,
кто же мимо тут пройдет?
Гаучо под рокот струнный
ясным утром, ночью лунной
песни о любви поет.

Есть ли человек на свете,
чтоб без ласки жизнь прожил?
Коль устал ты, приуныл,
но тебя подруга любит —
пожалее, приголубит,—
и опять ты полон сил.

Обоймет тебя жена,
и рассеялись, пропали
твои горести-печали:
ты — любимый, нужды нет,
что ни юбки ей, ни шали
не дарил уж сколько лет.

Со своей женой изведаль
я такую благодать:
жили мы ни дать ни взять
парой мух у миски с медом.
Да, приятель! Год за годом
шли счастливо: тишь да гладь.

«Ты орлица, что взмывает
выше гордых облаков,
ты нежнее алой зорьки,
предвещающей восход,
ты цветок благоуханный,
что в саду моем расцвел».

Ну, откуда ждать мне худа?
Только с некоторых пор
зачастил ко мне майор,
ополченский наш начальник.

Вижу, неспроста, охальник,
подъезжает. Ох, хитер!

Звал меня своим он другом.
Кто я был? Простолюдин.
Так с чего бы важный чин
с пылкой дружбой набивался?
Ровно клещ, он присосался
к ранчо Круса, вражий сын!

Скоро удалось ему
завести с бабенкой шапни.
И пропал мой мир домашний.
Начал мною с тех времен
помыкать мой друг вчерашний,
будто я его пеон.

Словно был я вестовым,
он давал мне порученья:
то пошлет меня в селенье,
то в эстансию, то в форт.
Сам же к службе, старый черт,
не выказывал он рвенья.

Тягость жизни легче вдвое,
коль нести ее вдвоем;
но подумаешь о том,
что чужак подругу сманит,
и тебе обидно станет:
лучше б жил холостяком.

Перед курочкой моей
кукарекал этот кочет.
Вижу я, меня морочат,
и домой неожиданно — шась!
Так и есть: с ней лясы точит
и милуется он всласть.

И хорош он был, ну как
необлизанный теленок.
Я сказал: «Ты до бабенок,
видно, здорово охоч,
только хватит ли силенок,
может быть, тебе помочь?»

Он за саблю — ой, проткнет,
словно вертелом дичину!
Глянул я на дурачину
и сказал: «Тебе, видать,
с женщиной не совладать!
Что ж ты лезешь па мужчину?»

Ткнул он саблей, но ее
крепко я зажал под мышку;
мыслью: не хватить бы лишку,
как бы мне, себя срамя,
не угробить старичишку.
И вполсилы дал — плашмя.

У начальства в холуях
не бывает недостатка —
был денщик с ним для порядка.
Шум услышал паренек
и, ощерясь, как щенок,
кинулся сюда, где схватка.

Он в меня из *леварвера*
выпалил почти в упор,
думал, кончен разговор;
но ошибся он в расчете:
пуля хоть быстра в полете,
да и я, брат, тоже скор.

Малый продолжал палить,
я — увертываться; пули
только воздух жиганули,
я же — цел и невредим.
Мне ли тут конец, ему ли?
Раз — и я покончил с ним.

Тут вокруг я огляделся:
где же он, соперник мой,
старикашка удалой?
Я обшарил всю лачугу
и нашел-таки: с испугу
он залез в мешок с золой.

Что в мешок, — влезть можно в петлю
от любви, как говорят.

Только тут... пришлось мне, брат,
нос и рот прикрыть ладонью:
ну и вонь! Кабацкий смрад
был ничто пред этой вонью.

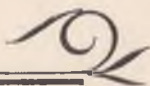
Я сказал: «Вали отсюда!
Пусть прабабка сатаны
отскоблит тебе штаны».
Я чихнул подряд раз десять...
Взять бы всех вас да повесить,
старые потаскуны!

Коль ослица да вздурится,
на убой ее пора:
знать, в работе не спора;
если с женщиной случится,
что вздурится, как ослица,—
от нее не жди добра.

На свое родное ранчо
бросил я последний взгляд
и пустился наугад:
пусть остался бесприютный,
но к бабенке той распутной
я уж не вернусь назад.

Знаю, все они такие,
ничего от них не жду.
Чтоб, да на свою беду,
сызнова дался им в руки?
К женщине да к ценной суке
близко я не подойду.

Песнь одиннадцатая



Многих я слышал певцов,
что легко стихи слагали,
песни их ручьем журчали.
Я ж не записной певец
и куплеты как овец
выгоняю из корраля.

Первую-то из загона
вытолкнуть — тяжелый труд,
а за нею как попрут
нескончаемым потоком,
так иной раз ненароком
и ворота разнесут.

Неученым нелегко
слово нужное дается,
но бывает — запоется:
я сложу один куплет,
и уже другой вослед
из груди на волю рвется.

Коль согласен ты послушать,
дальше я тебе спою,
в песне горе изолью,
горя в нашей жизни хватит:
гаучо ведь кровью платит
за бесхитрость свою.

Избегать я стал людей,
прятался, боясь подвоха,
в зарослях чертополоха,
вроде как бродячий зверь.
Знаю хорошо теперь:
без норы и зверю плохо.

И сказал себе тогда я:
«На пропедшем крест клади,
счастье, радость — позади».
От такой надсадной боли
вроде задубело, что ли,
сердце у меня в груди.

Как теленок, что в ненастье
потерял родную мать,
я не знал, куда пристать.
Слышу раз — мол, в пульперии
соберутся поплясать.
Я — туда. Не ждал беды я.

Только званье — пульперия:
так, конурка — срамота.

Вот была там теснота!
Люди что в початке зерна.
Разве может быть просторно,
где гуляет беднота?

Я сплясать не прочь, но тут
танцы были мне не сладки:
в сапогах, вишь, были складки,
и натер я пузыри,
вовсе, черт их подери,
не могу ступить на пятки.

Я гляжу. Сплясали гато,
фандангильо вслед за тем.
Не знаком я был ни с кем,
смирно в стороне держался.
Да нечистый вдруг вмешался,
праздник загубил совсем.

Вышло так, что приглашенный
на танцульку гитарист
был занозист да форсист;
я ж, хотя не забияка,
на дыбы встаю, однако,
ежели почую хлыст.

Перикон был третий танец,
тут и я не усидел.
Гитарист же — он, пострел,
знать, со мной встречался где-то —
ухмыльнулся и пропел
мне в насмешку два куплета:

«Все женщины коварны,
не доверяй им, друг!
Ах, женщины коварны,
изловят птичку вдруг,
покуда не оциплют,
не выпустят из рук.

У гаучо-бедняги
неважные дела.
Ах, женщина беднягу
вкруг пальца обвела.

Он выиграть надеялся,
а все продул дотла».

Зашушукались девчонки.
Я вскипел: «Эй ты, облом!
Петь-то пой, да знай о чем».
И, охвачен злостью ярой,
по струнам его гитары
с маху полоснул ножом.

Тут гляжу я: стражник-гринго,
да с ружьишком. Сгоряча,
не поняв без толмача,
вдруг пристрелит по оплошке?
Сдернул пончо я с плеча
и махнул по сальной плошке.

В два прыжка я был у двери,
в кулаке зажавши нож,
и с порога им: «Не трожь!
Кто ползет — кончит плохо».
Поднялась тут суматоха —
бабьи взвизги и галдеж.

Первым подскочил ко мне
гитарист. Ну, что же, ладно.
Был я выпивши изрядно,
да не слаб я и хмельной, —
насмехаться надо мной
впредь, мол, будет неповадно.

Задирать людей уж больше
он не станет, зубоскал.
Он, видать, потехи ждал,
а ему не смех, а слезы:
я, хотя и нетверезый,
вмиг обидчика прижал.

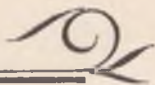
Женщины засуетились,
как ему вспорол я бок,
только хлопоты — не впрок,
чистая была работа:
струн наделать мог без счета
он из собственных кипок.

Я, вскочивши на коня,
вихрем полетел оттоле.
Коль в бегах ты, поневоле
долюшка твоя тяжка:
век кочуешь в чистом поле,
словно в небе облака.

Ведь судьбу не переспоришь —
подчипись, рад не рад;
разум, опыт нам велят
потихоньку жить, без форса:
бычью шкуру против ворса
не раскраивают, брат.

Темных гаучо безвинно
гонят, травят, как зверюг;
выслушать нас — недосуг,
жаловаться мы не смеем.
А сеньорам, богатеям,
все злодейства сходят с рук.

Песнь двенадцатая



Подобралась нас ватага
бесприютных горемык;
время шло, уж я привык
прятаться в норе звериной,
голод утолять кониной...
Гнет нас жизнь на свой салтык.

Что тут долго толковать.
Жизнь! Да будь она неладна!
Век свой горько да нескладно
топчешь ты земную твердь
вплоть до дня, когда нещадно
освежает тебя смерть.

Но окончились (копец ведь
есть у всякой колеи)
те скитания мои.

Получил я извещение:
старый друг один прощенье
схлопотал мне у судьи.

Я в ответ: а что же делать
стану я в родных краях?
Там безлюдье: кто в бегах,
кто вербовщикам попался,
кто уже отвоевался
и земле свой отдал прах.

Но меня к себе однажды
вытребовал сам судья.
Коли завербуюсь я
в полицейскую, мол, стражу,
верной службою заглажу
грех разбойного житья.

Уговаривал: у нас, мол,
храбрецам таким почет.
Ты, мол, честный *патривот*;
дескать, числиться отныне
буду я в сержантском чине
и отряд он мне дает.

Нацепил я саблю; дали
под начало мне отряд.
Да на кой мне это ляд?
Чтоб гоняться ночью темной
вслед за беднотой бездомной?!
Не по мне все это, брат...

Знаешь ты теперь, кто я.
Так доверься мне, дружище.
Будь у нас врагов хоть тыща,
что с того — ведь мы вдвоем!
Вместе мы себе найдем
потайное становище.

И не сыщет нас с тобой
человеческая злоба.
Беглецы теперь мы оба,
кони и еда — все тут,
на ночь же нам даст приют
тростниковая чащоба.

Если же свою одежду
в лоскуты истреплем мы,
шкуру попрошу взаимы
я у волка-перейрка,
в этом пончо будет жарко
даже и среди зимы.

Не стараюсь я оттяпать
кус от жизни пожирней:
мне что шея, что филей.
На чужое я не падкий
и не чванный,— я с лошадки
слезу у любых дверей.

Колеси, беглец, покуда
ты конец свой не нашел.
Бедняка от бед и зол
может только смерть избавить.
Эх! Когда-то будет править
сам своей землей креол?

А у нынешних у наших
заправил мы не в чести,
нас они в своей горсти
жмут до кровавого пота,
им давно уже охота
нас под корень извести.

Ты бы слышал, как начальство
судит-рядит вкривь и вкось.
Мне однажды довелось:
мой судья с другим чинушей
толковали. Вот послушай,
диву дашься ты небось.

Речь они вели о том,
как на землях им нажиться:
дескать, много вдоль границы
есть еще «ничьих» земель;
а людей, что там досель
лили кровь, согнать с землицы.

Тут, мол, проложить *железку*,
там поселок основать,
гринго для работ нанять.

А ведь это все — деньжищи!
Чтоб собрать такие тыщи,
надо с нас семь шкур содрать...

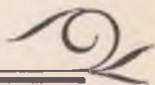
Только ежели пойдут
так дела, как шли доньше,
не останется в помине
вовсе тут живых людей:
станет весь наш край пустыней,
белой от людских костей.

Не дает судьба-злодейка
передышки ни на миг,
век свой, как в упряжке бык,
ты выкладываешь силы:
глянешь, — кроме как могилы,
ничего ты не достиг.

Городские горлопаны
уверяли сколько раз,
что болеют-де за нас,
не прими тех слов на веру:
голосят, как терутеру,
только для отвода глаз.

Я не ставлю ни во что
эту подлую ораву.
Мне их вопли не по праву.
Стоном стонет бедный люд,
а они ему дают
не лекарство, а отраву.

Песнь тринадцатая



Мартин Фьерро

Вижу, мы с тобой, приятель,
щепки с одного бревна,
и дорога нам одна:
наш родимый край покинуть,
от своих к индейцам двинуть.
Вместе уж хлебнем до дна.

Пусть господь меня простит:
ежели уж так мне круто,
что искать себе приюта
я у нехристей пошел,
буду я со злыми — зол,
мстить врагам я стану люто.

Бог, создав цветы земные,
одарил их красотой,
их веселой пестротой
расцветил он чисто поле;
человеку ж дал поболе:
наделил его душой.

Землю населив зверями,
дал творец живую плоть
всем — от ягуара в плоть
до ничтожнейших козявок;
человеку же вдобавок
разум подарил господь.

Возлюбил создатель птиц,
дал он им способность к пенью,
в радужное оперенье
пожелал он их облечь;
человеку ж во владенье
дал он дар ценнейший — речь.

Зверю бог дал лютость, чтобы
враг не мог его извести,
но у человека есть
дар надежный, дар давнишний:
человеку дал всевышний
для его защиты — честь.

Коли наделил господь
столькими людей дарами —
может статья, квит он с нами?
Верно, он смекает так:
сколько зол вам — столько благ,
дальше уж справляйтесь сами.

Больше я терпеть не стану.
Наша жизнь — крошечный ад,

так бояться ли нам, брат,
скудной простоты индейской?
Там зато уж полицейский
нас не сцапает отряд!

Слышно, ихние вожди
наших беглых привечают,
братьями их величают.
Отряхнем-ка здешний прах.
Надоел мне вечный страх:
сыщут, окружат, поймают...

Трудный это путь, опасный,
да меня не испугать:
мне путей не выбирать,
подчиняюсь я судьбине.
А заблудимся в пустыне —
двум смертям ведь не бывать.

У индейцев, может статься,
живы будем, здесь — навряд.
Надо ехать на закат,
напрямик, не размышляя;
вольного достигнем края,
там и поразмыслим, брат.

Гаучо хоть пусть ослепнет,
а до цели добредет,
не впрямую, так в обход.
Травы он рукою тронет —
на закат их ветер клонит —
и дорогу вмиг поймет.

Впереди — пустыня, край
вроде богом позабытый,
но небось мы будем сыты:
всякой дичи там найду, —
есть олени, и ньянду,
и матако, и мулиты.

Женщины и то, случалось,
проходили этот путь,
так и мы уж как-нибудь...

Я промыслю нам дичину:
ежели шары я кину,
страусу не улизнуть.

Не погибнем и от жажды:
гаучо терпеть привык.
Я чутьем найду родник,
а не выйдет так напиться,
близко под землей водица
в месте, где растет тростник.

Как пустыню перейдем,
в безопасности мы будем,
горести свои забудем.
Лишь завидим шалаши,
камень свалится с души:
не к зверям пришли, а к людям.

И себе из шкур из конских,
по обычаям степным,
шалаши мы смастерим —
кухня с горницею вместе;
ну, а там и по невесте
для себя мы приглядим.

Труд там дело не мужское,
будем жить как господа.
Разве только иногда
вдруг в набег умчится племя;
нет войны — лежи тогда,
коротай в тенечке время.

Тут несчастье по пятам
будет век за нами гнаться;
у индейцев, может статься,
счастье улыбнется нам.
То же солнце светит там,
что ж за землю-то держаться?

Если и шары и лассо
ты пустить умеешь в ход,
если сутки напролет
без седла скакать ты сдюжишь,
у индейцев ты заслужишь
уваженье и почет.

Новые мы сложим песни
в чужедальной стороне
о любви и о войне,
и добычей, взятой с бою,
разживемся мы с тобою;
здесь же все постыло мне.

* * * * *

Смолк певец. Потом из фляги
добрый он глоток отпил
и швырнул что было сил
оземь верную гитару
так, что с одного удара
вдребезги ее разбил.

И сказал: «Тебя, гитара,
не оставлю никому
и с собою не возьму:
вся исплакалась ты, вторя
заунывным песням горя,
вторя плачу моему».

Тут бы и окончить повесть
мне о гаучо моем,
но подумал я о том,
что читатель ненасытный,
как бабенка, любопытный,
спросит: «Ну, а что потом?»

Крус и Фьерро, заарканив
нескольких чужих коней,
двинулись в простор степей,
к рубежу родной землицы;
а добравшись до границы,
придержали лошадей.

На дымок они взглянули,
что курчавился вдали,—
теплый дым родной земли.
Чем-то встретит их чужбина?
Тихо по щекам Мартина
две слезинки проползли.

И в пустыню тут друзья
поскакали без оглядки.
То ли их в случайной схватке
смерть настигла, то ли нет,
и отыщется ль их след —
время разрешит загадки.

Вот и все. Не обижайтесь,
что печален мой рассказ:
это — правда без прикрас.
Не приврал ни на полушку:
в горе горьком по макушку
каждый гаучо погряз.

Пусть господь ему поможет.
Я кончаю. Приустал.
Не ища себе похвал,
спел про беды и печали,
*о которых все мы знали,
да никто не рассказал.*

Возвращение
Часть вторая **Мартина
Фьерро**

Песнь одиннадцатая

.....
Рассказать теперь позвольте ¹,
как сыскал я сыновей.

Я к родным местам вернулся,
все кружил, хотел разведать,
что да как; но слишком много
с той поры годов ушло.
Жизнь у нас, как я увидел,
к лучшему не изменилась,
потому я был опаслив,
словно зверь с подбитой лапой;
каюсь, не было охоты
снова попадать в ловушку.

¹ В переводе вторая часть поэмы дается в сокращенном виде. В первых десяти песнях повествуется о жизни Мартина Фьерро и Круса у индейцев, о смерти Круса и о возвращении Мартина на родину.

Всем вам ведомо, сеньоры, —
ежели бедняк с властями
тяжбу завести посмеет,
то ему платить издержки.
Но однажды повстречался
со своим я старым другом,
он порассказал о многом;
перво-наперво сказал он,
что давно лежит в могиле
тот судья, мой злой обидчик,
тот, по чьей вине страдаю
вот уж целых десять лет я,
а ведь десять лет не шутка,
если человек немолод.
Так провел я эти годы
(коли в счете не ошибся):
был три года на границе,
в беглых числился два года,
пять томился у индейцев, —
вот и вышло десять лет.

Старый друг сказал еще мне,
чтобы я не опасался:
власти, мол, с меня не спросят
за провинности былые.
Мол, никто уже не будет
поминать о смерти негра:
я его убил, однако
не был ведь и он безгрешным.
Правда, я погорячился,
через край хватил я, каюсь,
но за нож он первый взялся,
первый он меня ударил,
мне ножом лицо порезал, —
не ответить я не мог.

Тот же друг меня уверил,
что никто не вспоминает
и про стычку в пульперии,
где вспорол живот я парню.
Он меня на ссору вызвал,
не было вины за мною;
он со мной затеял драку,
он меня и уложил бы,

кабы не был я ловчее,
кабы малость я промедлил;
он один был виноватый,
ненароком я убил.

Друг меня уверил твердо,
что не станут поминать мне
и про ту ночную схватку
с посланным за мной отрядом.
Был в своем я полном праве:
мог ли я не защищаться,
коли вдруг напали скопом,
темной ночью в чистом поле,
коли, обложив, как зверя,
и оружием угрожая,
не давали молвить слова,
лишь вопили и стращали,
что расправятся со мною,
как с разбойником отпетым;
да не офицер грозился, —
рядовой какой-то стражник.
Думаю, — не подобает,
чтоб с людьми так обходились,
ни с невинными, ни с теми,
кто и вправду виноват.

Эти новости услышав,
очень я прибодрился:
жить не хоронясь могу я,
жить, как все другие люди.
А вот нынче довелось мне
двух моих сынов увидеть, —
возношу за эту радость
я благодаренья небу.
С кем бы ни вступал в беседу,
задавал о них вопросы,
но никто не мог сказать мне,
где они, что с ними случилось.
А недавно я проведал,
что большие будут скачки
и что съедутся на праздник
гаучо со всей округи.
Хоть заклад мне ставить нечем,
но и я, как все, поехал.

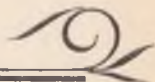
В этом скопище приезжих
и таких нашлось немало,
кто слышал о злоключеньях
гаучо Мартина Фьерро.
Там, при скакунах хозяйских,
были и мои два сына.
И, мое услышав имя,
бросились ко мне тотчас же.
А иначе-то, по виду,
им меня и не узнать бы:
объиндеился совсем я,
постарел к тому ж изрядно.
Но рассказ о поцелуях,
радостных слезах, объятых
женщинам я оставляю,
это уж по ихней части.
А мужчина умудренный,
знающий, почем фунт лиха,
на людях поет и пляшет,
плачет и целует втайне.
Сыновья мне рассказали,
что жена моя скончалась.
Как родить пришло ей время,
подалась бедняжка в город,
а уж там, само собою,
горя досыта хлебнула.
Родила она в больнице
и, промаявшись недолго
в том вместилище страданий,
там и смерть свою нашла.

Я клянусь вам, что вовеки
в той потере не утешусь,
много слез с тех пор я пролил,
как узнал, что с нею случилось.
Но довольно о печальном,
хоть невесело на сердце.
Вижу я, свою гитару
старший мой уже настроил;
что ж, послушаем и скажем,
знает ли он в этом толк.

Вы их видите впервые,
ну, а я на них надеюсь,—

вовсе не затем, что оба
сыновья мне (эка важность!),
но затем, что с малолетства
много выпало им горя.
Оба рвутся вас уважить,
так начать позвольте скачку, —
пусть покажут жеребята,
что на них мое тавро.

Песнь двенадцатая



Старший сын Мартина Фьерро

ТЮРЬМА

Каково, — как говорится, —
дерево, таков и плод;
только пусть честной народ
мне простит, коль оплошаю:
до отца, и сам я знаю,
сын вовек не достигнет.

Сызмала у нас — ни крова,
чтоб от бури нам укрыться,
ни куска, чтоб прокормиться,
ни огня, чтоб отогреться,
ни рубашки, чтоб одеться,
и ни пончо, чтоб накрыться!

Счастлив, кто в родном дому
рос обласканный и сытый,
в теплом гнездышке укрытый
ото всех житейских бед.
Худо тем, кто с малых лет —
без опоры, без защиты.

Коль судьба тебя невзлюбит,
только подставляй бока, —
длинная у ней рука.

Что ни сделаешь — все к худу,
гонят, гонят отовсюду,
как паршивого телка.

Словно зверь, одним ты занят:
ищешь ты еду и кров;
всякий пнуть тебя готов,
как какого-нибудь гада,
нет в сиротской жизни лада,
ты — гитара без колков.

Ни родителей, ни дома,
ни одной души родной,
ты сам-друг с твоей тоской,
что грызет тебя и точит;
раз ты сирота, — кто хочет,
может помыкать тобой.

Каждый рад поиздеваться:
кто со зла намнет бока,
кто «для смеху» даст пинка,
кто «шутя» хлыстом ошпарит...
А никто ведь не подарит
и дырявого мешка.

Если и наймут на службу,
то не жди для сироты
жалости и доброты.
Денег дать, одежду? Нет уж!
Так, швырнут иной раз ветошь
для прикрытья наготы.

Кое-как своим трудом
добывал я пропитанье.
Голод, нищета, скитаанья —
вот удел мой с малых лет;
взрослым стал — для новых бед,
новые узнал страданья.

В этой школе брал уроки
и не год я и не два.
Слушайте мои слова —
столько мною пережито!
Жизнь пригубивши едва,
горестей хлебнул досыта.

Ежели грехи какие
числились когда за мной,—
темнота тому виной.
Время шло. Я вроде начал
жить сытней — в тот год батрачил
на эстансии одной.

Но бедняк всегда в ответе
перед теми, кто силен.
Как-то был убит пеоп
у соседнего сеньора.
Розыск быстро шел и споро:
тут же я был обвинен.

Люди добрые, легко ли
вынести подобный срам?
Стыдно, думаю, и вам
слушать про дела такие.
Был причислен без вины я
к душегубам и ворам.

И еще двоих схватили.
Как решить — кто виноват?
Но судья у нас был хват,
нас обмерил острым взглядом:
«Что ж, с разбойниками рядом
сам спаситель был распят.

Всех троих, — нам объявил он, —
в окружной отправлю суд».
Приговор и впрямь был крут,
правда, мы еще вначале
ничегошеньки не знали
о мытарствах, что нас ждут.

В «окружном» для вновь прибывших
пышный был готов прием:
зарешеченный проем
в толстой стенке каземата.
Звался он «острог» когда-то,
«Исправительный» стал «дом».

«Исправительный»? За что ж
получило это зданье
новое теперь названье?

Уж назвали б «Горький дом»,
потому что в доме том
вдоволь горя и страданья.

Что ж, креол, терпи, свыкайся,
коль не повезло тебе,
покорись своей судьбе;
гринго — тот уж исхитрится,
он убьет и притворится,
будто был он не в себе.

Потянулся день за днем
в этой каменной могиле, —
заперли, да и забыли.
Коль снаружи не толкнут, —
поспешать не станет суд.
Дело спит под слоем пыли.

Посидишь вот так, без срока,
словно бы живой мертвец,
и отчаешься вконец.
Если даже был ты прежде
забубенный удалец, —
скажешь тут прости надежде.

Строгости сильнее там,
где закон составлен скверно.
Наш закон писала, верно,
душегубская рука:
будь вина и впрямь тяжка, —
наказанье непомерно.

Тут согнешься, — хоть герой ты,
хоть отъявленный злодей,
слыша только звон ключей,
видя лишь тюремных стражей,
что бесчувственнее даже
камня камеры твоей.

Тяжелей всех наказаний
наказанье тишиной, —
впору биться головой
в степы камешные эти;
все один ты — иль на свете
нет другой души живой?

Будь ты молодцом бывалым,
будь бесстрашным драчуном,
а, попавши в этот дом,
долго там не похрабришься,
сникнешь, коли потомишься
с совестью своей вдвоем.

Нет быков в коррале этом,
там встречаешь лишь ягнят,
все трясутся и молчат,
в страхе наостряя уши.
Гнет в дугу людские души
беспощадный каземат.

Может статься, что не зря
я про жизнь свою кривую
добрым людям повествую:
обошла коль вас беда,
так не вредно иногда
про беду узнать чужую.

Матери! Своих сынов
вы вскормили для того ли?
Иль для каторжной неволи
вы рожали их на свет?
Знайте же, что доли нет
горше арестантской доли.

Женщины, мужьям скажите:
для живых страшней всего
этот дом, где все мертво.
Адову там терпят муку,
одному внимая звуку —
стuku сердца своего.

Нет там солнца — день не светел,
ночь без звезд вдвойне темна;
и какая бы вина
впрямь не числилась за вами,
там вы горькими слезами
смоете свой грех сполна.

Слышишь в тишине тюремной
только стук в своей груди

(всем вам бог не приведи
жить неделями без слова):
и в чистилище, поди,
нет безмолвия такого.

Счет ведя часам унылым,
нескончаемым часам,
ты отягощаешь сам
это тягостное бремя;
там отсчитывают время
лишь по вздохам да слезам.

Будь ты храбрым, будь ты сильным, —
не за месяц, так за год
тишина тебя проймет.
Если вдруг шаги услышишь, —
притаишься и не дышишь:
может, смерть к тебе идет?

Мучится душа, и что-то
новое рождается в ней:
ты о жизни о своей
думать больше начинаешь,
сам себе ты обещаешь,
коль отпустят, — жить честней.

Вспоминаешь все бывшее,
близких вспоминаешь, мать...
Это надобно понять:
будь беспмятным ты сроду,
там, утративши свободу,
выучишься вспоминать.

Кто с рожденья своего
вольным был, как ветер в поле,
тот не свыкнется с неволей,
жить не сможет под замком.
Не умел я нипочем
притерпеться к этой боли.

И порой (ведь в тесной клетке
все страшней день ото дня)
вырывался у меня
громкий стон: «Кабы дождаться, —

сесть бы снова на коня,
в памну снова бы умчаться!»

Но за крик наденут цепи!
Карцер тоже есть в тюрьме:
настоишься в полной тьме,
скован с балкою железной.
«Забуянил, друг любезный?
Да в своем ли ты уме?»

Сколько есть печалей в мире, —
арестанту все близки.
Скорбь берет его в тиски,
сердце рвет ему на части:
не встречается злосчастье
без своей сестры — тоски.

Хоть умойся ты слезами,
а не сладишь с этой злой,
с этой въедливой тоской.
В одиночестве коснея,
видишь ты еще яснее,
как ты обделен судьбой.

Не проникнет из-за стен
ни единый звук утешный.
Парень и взаправду грешный,
потерявший страх и стыд,
как попал в тот ад кромешный, —
стонет, плачет и молчит.

Лезешь на стену сперва,
сердцу впору бы разбиться!..
Но берет свое темница:
гнев сменяется тоской..
Может, я б нашел покой,
если бы умел молиться.

Зпал бы хоть одну молитву, —
к богу бы вознес мольбу.
В этом каменном гробу
всеми ты забыт, ты — лишний,
не услышит и всевышний,
как ты ропщешь на судьбу.

Месяца два-три всего лишь
в заключенье посидел,
а уже я поседел,
вся моя иссякла сила.
И уж так мне горько было,
что молиться не умел.

Я от ярости сначала
был как бешеный — точь-в-точь!
Скоро стало мне невмочь,—
крепко въелась в грудь тоска мне,
и кропил немые камни
я слезами день и ночь.

Хоть нечасто, к арестантам
(ради праздничного дня)
допускается родня.
Горше я страдал в дни эти:
близкой не было на свете
ни души ведь у меня.

Господи, благослови
тех тюремщиков, в ком малость
милосердия осталось!
Но почти что нет таких:
строго взыскивают с них,
коль они проявят жалость.

Маешься и днем и ночью
в той могильной тишине
сам с собой наедине,
а заснешь на час короткий,—
лишь засовы да решетки
видятся тебе во сне.

.

Разговаривать — нельзя,
петь — нельзя (ведь узник в пенье
мог бы черпать утешенье),
мате и в помине нет
и (вот зверство-то!) запрет
там строжайший на куренье.

Эти правила придумал
не законник, а злодей!
Любо им терзать людей
и смотреть на их страданья.
Но всего там тяжелей
это вечное молчанье.

И с тюремною решеткой
ты поговорить бы рад, —
вспомнить, как слова звучат,
только не забудь при этом,
что слова тут под запретом,
а строптивых не псадят.

Все молчишь, молчишь, и — глядь! —
тварью стал ты бессловесной;
человека ж, как известно,
отличает от зверей
речь, — по милости своей
дал нам речь отец небесный.

Но тебя лишают речи,
если ты попал в тюрьму.
Кто ответит — почему?
Коль от бога нам дар слова,
то карать нас так сурово —
только богу одному.

Изо всех даров господних
(хоть, в невежестве своем,
я с немногими знаком,
но их все ценю и славлю)
речь на первом месте ставлю,
дружбу ставлю на втором.

Знаю, пишется закон,
чтоб злодеям неповадно
было зло творить, — ну, ладно!
Но закон не в меру строг,
если то, что дал нам бог,
отнимает беспощадно.

В одиночестве тоскуя,
одурев от тишины,

виноват иль без вины
(а невинным вдвое хуже),
удивляешься — кому же
эти строгости нужны?

Будь с тобой товарищ,— мог бы
в нем поддержку ты найти.
Коль один ты взаперти,—
мыслишь днями и ночами:
«Кроме как вперед ногами,
на свободу не уйти!»

В книжках для себя пашел бы
утешенье грамотей,
ну, а я, по простоте,
утешеньем жил единым:
был Христос господним сыном,
а страдал ведь на кресте.

И слова простые эти
освещали мне мое
беспросветное житье,
хоть и было нелегко мне.
О чужих страданьях помня,
легченосишь ты свое.

.

Пусть же западет вам в души
этот горький мой рассказ.
И не то чтобы у нас
зверем был начальник главный,—
он служака был исправный,
честно выполнял приказ.

И тюремщики не злые,—
все равнялись по нему;
все же угодить в тюрьму,
если бы святыми даже
были тамошние стражи,
не желаю никому.

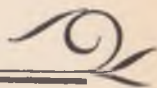
О своих страданьях тяжких
я тут рассказал, как мог,
и других предостерег.

Если, сохрани вас боже,
не запомните урок,
вам страдать придется тоже.

Берегитесь, чтоб тюремных
не видать вовек ворот.
А для этого вперед
надо смиренно жить и честно:
береженого, известно,
и господь убережет.

Люди добрые, простите,
коли сделалось грустней
вам от повести моей.
Тем, кто, хоть на срок короткий,
видел мир из-за решетки,
век не позабыть о ней.

Песнь тринадцатая



Второй сын Мартина Фьерро

О себе вам расскажу я
все по правде, напрямик,
врать я людям не привык,
и хотя стыжусь иного,
выкинуть из песни слова
не посмеет мой язык.

Сиротами мы остались
и скитались десять лет;
почитай весь белый свет
исходили как бродяги,
были голодны и наги,
натерпелись многих бед.

Нет отца — семья пропала,
жизнь пошла и вкривь и вкось.
Ведь сиротский пай небось
лишь обьедки да ошметки.

Ежели разрезать четки,
то известно — бусы врозь!

Только вдруг (уж я тогда
горя вытерпел немало)
тетка матери прознала
о лихой моей судьбе
и взяла меня к себе.
Перемена мне настала.

Было все теперь в достатке:
и одежда и еда.
Я, отвыкнув от труда,
жил привольно и беспечно.
Но ведь счастье никогда
не бывает долговечно.

Бабка впрямь меня любила,
избавляла от забот:
пусть, мол, парень отдохнет,
настрадался с малолетства.
Говорила, что в наследство
мне оставит дом и скот.

Умерла. Судья приехал.
«У тебя, мол, сирота,
будет, как войдешь в лета,
кроме этой вот хибары,
стадо крупного скота
и овечьих две отары.

После совершеннолетия
все получишь ты сполна,
что оставила она, —
ты небось не будешь нищим.
А покуда мы приищем
для тебя опекуна».

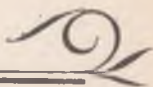
Видно было, что знаток
всех законов он и правил:
опись он стадам составил,
управляющего взял
и, поскольку был я мал,
он меня ни с чем оставил.

Под гору тут покатилося
славное житье-бытье.
Пончо новое мое
вскоре стало, словно сито;
платье бабкой было сшито, —
износилось все в тряпье.

Долго жил я так, а сколько
и сказать вам не могу.
Но судья все ни гугу.
К ласке бабушкой приучен
и к родному очагу,
вновь нуждой я был замучен.

Шла неделя за неделей,
месяцы все шли и шли...
Словно рыба на мели,
сохнул я в тоске-печали.
Наконец за мной прислали:
мол, опекуна нашли.

Песнь четырнадцатая



Взял меня старик в опеку.
Но прошел недолгий срок,
и уж распознать я мог,
что зловредный он хапуга,
и за то ему округа
прозвище дала: «Хорек».

Чем он так прельстил судью,
догадался без труда я,
но, в причины не вникая,
их оставим в стороне:
соль не в них — в опекуне.
Шла о нем молва худая.

Был он хитрый, как лисица,
и напористый, как бык.

Спешившись, хромал старик, —
лапы как у попугая:
ездить без стремян привык,
палец в петлю продевая.

От него вовек о людях
не слыхал я добрых слов,
но зато с десятков псов
завсегда при нем бывало,
он кормил их до отвала:
резал им чужих коров.

Ночью резал скот и, бросив
внутренности и костяк,
вез кормежку для собак, —
вволю было каждой шавке;
а за шкуру брал он в лавке
мате, водку и табак.

Как никто, мой старикашка
знал торговый оборот!
Воровал чужой он скот,
верно, не без уговора
с лавочником: ведь и тот
прибыль получал от вора.

Где парод ни соберется, —
например, овец стригут, —
он уж первый тут как тут:
жрет и пьет на даровщинку,
да еще и стащит, плут,
ножницы или овчинку.

Пожалел я раз ягненка.
Слабость увидав такую,
взял плетеную он сбрую
и отдул меня сплеча
(а потом уж, сгоряча,
сбрую прихватил чужую).

Ну постой, подумал я,
уж когда-нибудь на краже
попадешься, сын ты вражий,
будет свет тебе не мил.

Знаем, кто с чужих кобыл
режет волос для продажи.

Притащил ему однажды
я убитого хорька.
Вот забрало старика!
«И назвапье твари этой
позабудь,— иль, не посетуй,
уж намну тебе бока!»

Видел я, что не на шутку
рассердился старый вор.
Изобьет ведь, живодер!
Не в ладу он, знать, с хорьками.
О хорьках промежду нами
речи не было с тех пор.

Как-то вечером заметил
он кобылий табунок.
Стал валить кобылок с ног
и срезать хвосты на волос.
Вдруг — хозяин. Я — молчок,
подавать не стал я голос.

Мчался в ярости хозяин,
в воздухе крутил он плеть,
кабы он успел огреть
старикашку продувного,
мне, поди, пришлось бы снова
без опекуна сидеть.

Дон Хорек тут заметался,
но паршивцу повезло,—
он успел вскочить в седло
и такого задал деру,
что и молодому впору.
Цел остался, пронесло.

Не подумайте, сеньоры,
что с тех пор он красть отвык,
нет, не бросил мой старик
воровских своих повадок,
только стал хитрей: лошадок
днем треножил, ночью стриг.

Вот каков был мой наставник,
охранитель юных лет.
Знал о нем любой сосед,
что мошенник он бесчестный
и никчемный дармоед.
Был он сущей язвой местной.

Говорил судья, назначив
мне его опекуном:
«Помни, что найдешь ты в нем
образец для подражання,
даст тебе он воспитанье
и научит жить трудом».

Как же, научить он мог бы,
этот враль и горлодер,
этот пакостник и вор,
этот прихлебала старый,
кто в округе с давних пор
почитался божьей карой.

Хоть, казалось бы, чужого
много пахвтал добра
(красть он начал не вчера), —
было всех бедней в округе
ранчо старика: в лачуге
крыши не было, — дыра.

Там он спал, с ночной «охоты»
возвращаясь па заре.
Я ж всегда спал на дворе.
Что он прятал там от сглазу?
Ведь не подпускал ни разу
он меня к своей поре.

Он рукою тороватой
мне заместо одеял
лысых две пононы дал.
Летом — что, зимой вот хуже:
иногда всю ночь от стужи
я и глаз-то не смыкал.

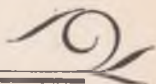
В старицу, как слышал я,
был он человек женатый,

по в сердцах убил лопатой
молодую,— потому,
что в тот раз она ему
подала холодный мате.

Так вдовцом он и остался:
не сыскалось ни одной
в пампе женщины шальной,
чтобы на него польстилась,—
знали все, что приключилось
с первою его женой.

Он стонал во сне,— знать, тяжело
с совестью быть не в ладу;
перед смертью же, в бреду,
женщину все видел эту,—
мол, вопит, зовет к ответу,
ждет свиданья с ним в аду.

Песнь пятнадцатая



Поутру бывал всегда
он в дурном расположенье;
то в зубах (для развлечения),
то в ушах он ковырял;
после, вынив, начинал
мне читать правоучеся.

Вижу как сейчас,— усевшись,
добрый отхлебнув глоток,
начинает он урок:
«Помни — нет приметы проще,—
к ранчо, где собаки тощи,
ты не суйся, паренек».

«Только о своей, брат, шкуре
все хлопочут»,— каркал он.
«Знай, мои слова — закон,
не пустые тары-бары.

Отчего так черт умен?
Оттого, что он, брат, — старый.

Ублажай всегда судью.
Если даже, может статься,
он решит к тебе придраться,
не вступай с начальством в спор.
Хорошо, коль есть забор, —
вдруг приспичит почесаться.

Он, судья, — главарь всей шайки
и сидит на нас верхом;
коль взбрыкнешь ты пепутом —
и костей твоих не сыщем:
не достанет он кнутом,
так достанет кнутовищем.

Самый дерзкий и строптивый
и горячий как огонь
(нипочем его не тронь!)
присмирет от невзгоды.
В засуху и дикий конь
пьет смиренно из колоды.

Есть жильё — держись его,
не ищи себе другого;
дурачина, кто с родного
места своего ушел.
Сменит пастбище корова —
будет ей не в срок отел».

Отхлебнув еще изрядно,
пустомеля и бахвал
дальше с важностью вещал:
«Знай, всегда тебя дурачат —
баба, если она плачет,
пес, когда он захромал.

Хоть бы мир весь провалился —
я бы ухом не повел,
а вот тронь мой частокол —
сразу ушки на макушке.
Человек — он как осел:
помнит только о кормушке.

Для чужого очага
я не дам свое кресало.
До других мне дела мало.
Свиньи жрут и свой приплод,
а ведь совесть их неймет,—
знай парацивают сало.

Все лисицу уважают,—
мол, добычлива, ловка!
Грех ли сплутовать слегка,
клок урвать добра чужого?
Хорошо жует корова —
вкус хорош у молока.

Лакомый кусок добывши,
молча набивай живот.
Вверх не лезь: прямой расчет
жить укромно, без задору.
Если конь поскачет в гору —
от аркана не уйдет.

Будешь сыт всегда по горло,
коль пойдешь тропой моей,
старикам оно видней,
правильно тебе толкую.
Погляди — и муравей
в торбу не ползет пустую.

Умный о себе хлопочет
и не делится ни с кем,
но завидовать — зачем?
Зависть — лишняя тревога.
Поросят родится много,
а сосков хватает всем.

Знай, искусников довольно,
что живут чужим горбом;
только мы, брат, пососем
и отвалимся на время,
а вот господ! Их племя
не насытишь нипочем.

Лучше не женись,— свободным
будешь ты от всяких пут.

А падумаешь — уж тут
бойся доверять удаче,
помни: чем седло богаче,
тем скорее украдут.

Правду говоря, по мне —
провались они все, бабы!
Вы, юнцы, конечно, слабы,
по запомни, брат, одно:
сердце женское — оно
холодно, как брюхо жабы».

Пасосавшись так, что худо
слушался его язык,
он гнусил: «Я, старый бык,
говорю тебе, бычку:
выйдет спор — будь начеку,
в драке важеп первый миг.

Без оружия — ни шагу.
Ежели с тобою нож,
будешь ты для всех хорош,
но умей с ним обходиться:
это, парень, не годится,
если, вынувши, не ткнешь.

Коли ты привык транжирить —
вечно будешь голытьбой.
Со своей не спорь судьбой:
ты ее, брат, не обманешь.
Гладким к старости не станешь,
коли смолоду рябой.

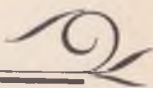
Что бы ни стряслось с тобою,
не печалься, не мудри.
Средство есть, черт подери,
от печали и от стужи:
моюсь я водой снаружи,
водкой моюсь изнутри.

Думаешь, даю советы
просто так, для разговора?
Жить начнешь — оценишь скоро
опытность мою и нюх.

Побеждает тот петух,
у кого стальная шпора».

Повторял свои присловья
уж и этак оп и так.
Но глядишь — кувшин иссяк,
а старик, мертвецки пьяный,
падает среди собак
и храпит под их охраной.

Песнь шестнадцатая



Захворал мой старикашка,
что стряслось с ним, не пойму,
только хуже все ему:
слег — и ни на шаг из дому.
Страшно с ним мне одному,
знахарку привел к больному.

Покачала головой,
поглядев ему под мышку.
Тут и я увидел шишку,
да большущую, с кулак.
«Эх, осиротит мальчишку, —
деверь вон какой набряк!»

.
Говорят, что в каждом стаде
есть паршивая овца.
Песня всем живит сердца,
но иной — все весит, мерит.
Грубый смех прервал певца:
«*Деверь!* ну и неуч! — веред».

А певец в ответ: — Не слушай,
если песня не мила.
Но в чужие лезть дела
я б не стал, сеньор, по чести.
Да почему мне знать *болести?*
Знахарка так назвала.

«Не *болести*, а болезни!
Экий, братец, ты облом.
Ведь не смыслишь ты ни в чем,
кроме стада и трактира», —
снова как огрел хлыстом
этот въедливый придира.

— Хуже нет, — сказал певец, —
есть вдвоем из общей плошки.
Этот умник все оплошки
хочет ставить мне в строку.
Думал я, мы все в рогожке,
ан один из нас в шелку.

Может, слушатель ученый
досказать позволит мне
о моем опекуне?
Только ты войдешь в работу,
как любителей без счету
хаять, стоя в стороне.

Старику, как говорил я,
приходил уже конец.
Я ведь был совсем юнец,
страшно в дни мне было эти,
видел я: на белом свете
опекун мой не жилец.

А еще страшнее было
зимней ночью мне с больным.
Он проклятья слал святым,
церкви, милости господней,
бредил, что из преисподней
дьявол сам пришел за ним.

Понял я: такие люди,
жизнь которых нечиста,
трусят смерти неспроста.
За грехи он ждал расплаты,
корчился, как бесповатый
перед знаменем креста.

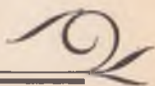
Богохульством запоганил
так он логово свое,

что и пищу и питье
внутри просовывал я палкой:
хоть больного было жалко,
я не мог войти в жилье.

Прикоснуться к святотатцу —
не к добру наверняка.
И не трогал старика, —
пусть кощунствует, бранится
в одиночестве, пока
смерть к нему не постучится.

Голосом позвать не в силах,
звал он звоном бубенца.
Умиравший с лица
страшен был — распухший, черный...
Так с ним были до конца
псы да ваш слуга покорный.

Песнь семнадцатая



Пересиливши свой страх,
убедился я, что тело
старика окоченело,
и — к алькальду со всех ног.
Тот, соседей взяв пяток,
прибыл, чтоб уладить дело.

«Бог ему прости, бедняге, —
вымолвил один сосед,
хроменький, преклонных лет, —
много из чужого стада
съел бычков он; думать надо,
держит он за все ответ».

«Спору нет, — алькальд прибавил, —
был он слаб на этот счет
и шалил не первый год.
Уж ему спускали много,
но потом внушили строго,
чтоб чужой не трогал скот.

всевозможные колечки,
всяческие ремешки...

Куча болас, старых седел,
три исправные седла,
стремена и удила,
пряжки, дышловые кольца,
бубенцы и колокольца,
пять кастрюлек, два котла.

Пончо, потники, попоны,
отслужившие свой срок,
вертела, ножей с пяток,
куча выношенных шапок,
ворох всяких грязных тряпок
и разрозненных сапог.

С удивленьем несказанным
сверх всего заметил я
в этом ворохе старья,
что нагребил лис матерый,
и чернильницу — которой
обискался наш судья.

«Ну скажи, — алькальд промолвил, —
как набил нору свою!
Это впору муравью.
Вещи возвратить не худо
их владельцам, а покуда
нужно известить судью».

Тут накинулись соседи,
словно стая воронья:
«Мое лассо!» — «Плеть моя!»
Совестно мне слушать стало:
правды было в этом мало,
предостаточно вранья.

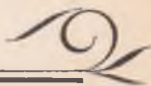
Осмотрев и сосчитав
стариковское именье
и устав до одуренья,
мне алькальд сказал: «Поздней
я пришлю тебе людей,
чтоб устроить погребень».

Мол, хоть не был опекун
мне роднею никаковской,
муравейник стариковский
я в наследство получу.
С ласкою меня отцовской
потрепал он по плечу.

«А душеприказчика
из соседей я назначу,
жизнь твою переиначу.
Знай, решается сейчас
по закону все у нас.
Бог пошли тебе удачу».

Так! Еще одно наследство!
Почему ж я гол и бос
и бездомный, словно пес?
Перво-наперво мне надо
знать, где бабушкино стадо;
не найду — с кого тут спрос?

Песнь восемнадцатая



Каждый из моих соседей
сел в седло — и был таков.
Наземь я упал и — в рев!
Одиночество не шутка,
и уж так мне было жутко
с мертвецом и сворой псов.

Свой заветный образок
грешнику надел па шею,
стал молиться — как умею —
о душе опекуна:
«Ты, пред кем сейчас она,
сжался, смилуйся над нею!»

Страх терзал меня свирепый,
грызла лютая тоска.

За себя, за старика
богу я молился жарко,
не сводя глаз с образа —
материнского подарка.

«Мама, мама! Где ты, где ты? —
я рыдал. — Приди ко мне!
Где, в какой ты стороне,
я не знаю. Все едино,
горькие рыдания сына
слышать ты должна во сне».

Так, тоскуя безутешно
и молясь за упокой,
я дрожал во тьме ночной.
Вдруг услышал я щемящий,
смертный ужас наводящий
псов многоголосый вой.

Ох, не дай господь изведать
вам такого никогда!
Мне до Страшного суда
не забыть, как было жутко.
Удивляюсь, что рассудка
не лишился я тогда.

Неученые, как я,
врят в сны, в приметы, в слухи.
Говорили мне старухи:
если слышишь песий вой,
знай, — за грешною душой
прилетели злые духи.

Нет, пускай уж крысы жрут
стариковские недостатки!
На чужое я не падкий...
Не дождавшись похорон,
бросился я без оглядки
из берлоги этой вон.

.

В тот же день (потом узнал я)
подрядили бедняка, —
и зарыл он старика.

Слышно, проклята могила:
часто из земли рука
поднималась и грозила.

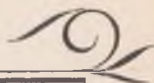
А недавно я узнал
об ужасном этом деле
то, чего не знал доселе:
ведь мертвец — вот страх какой! —
был зарыт с одной рукой,
а другую псы отъели!

Этот грех с той самой ночи
тяготеет надо мной:
страх погнал меня шальной,
я удрал, оставив тело...
Те места и самый смелый
объезжает стороной.

О проклятом этом ранчо
нехорошая молва:
из щелей растет трава,
по углам — тьма мерзких тварей;
а ночами в той хибаре
глухо ухает сова.

Как я жил тогда — не помню,
страшная была пора.
Платье — на дыре дыра.
А уж спал куда как худо:
снились псы, мертвец и груды
выморочного добра.

Песнь девятнадцатая



Стал я сам себе хозяин.
Говорят, что не бедна
голова, коли одна.
Обходил судью подале,
чтобы мне не навязали
нового опекуна.

Он сказал: «Твоим именем
управлять я буду сам,
ну а к тридцати годам
станешь совершеннолетним, —
все сполна тебе отдам.
Ты не верь зловредным сплетням».

Ждать мне оставалось долго,
и, как ящерица, гол,
я из этих мест ушел
прочь, куда глаза глядели,
словно болас, что без цели
пущены на произвол.

Детство кончилось мое,
но не кончились напасти.
Думал — вот предел несчастий!
Ан была мне суждена
мука горшая одна:
мука безответной страсти.

Без сочувствия и ласки
жил я в людях — как трава.
Возмужал я, по, едва
детские просохли слезы, —
въелась хуже той занозы
в сердце мне одна вдова.

Часто женщину мужчина
превозносит сверх цены,
обвиняет без вины,
в замарашке видит чудо...
До чего ж мы знаем худо
тех, в кого мы влюблены!

Истрадался я совсем.
Днем ли, ночью — нет покою!
Сладить как с бедой такую?
Рассказал тут кто-то мне
об искусном колдуне:
все, мол, снимет как рукою.

Я не верил, я робел.
Но тоска вконец заела,

и, измучась до предела,
весь иссохши дочерна,
разыскал я колдуна:
дескать, вот какое дело.

Я стоял, стыдом убитый,
покраснев, как помидор.
Он изрек мне приговор:
«У тебя есть враг заклятый,
зелье подмешал в твой мате,—
вот и чахнешь ты с тех пор».

«Исцелю,— ведь у меня
сила от креста святого,
одолею духа злого».
Страусовым он пером
обмахнул меня, потом
молвил мне такое слово:

«Прокляни своих знакомцев,
всех, кто водится с тобой,
чтобы злопахатель твой
нам открылся между ними;
и покойников с живыми
помяни ты в клятве той».

Он велел, чтоб у вдовы
старое стащил я платье;
тряпку должен разостлать я
перед рутовым кустом,
после должен лечь крестом
и произнести заклятье.

Как велел, так я и сделал:
платье у вдовы стащил
и обряд тот совершил
пред кустом пахучей руты,
но напрасно: пламень лютый
жег меня, меня сушил.

«Съешь побег чертополоха —
и пройдет твоя любовь».
Что ж, послушался я вновь.
И уж так мне было плохо,—

целый куст чертополоха
я сжевал, — вся глотка в кровь.

Это новое лекарство
поначалу помогло.
Все бы, может, и прошло,
только встретил, по несчастью,
я вдову, — и жаркой страстью
снова сердце обожгло.

И опять я к шарлатану
(а деваться-то куда?) —
пропадаю, мол, беда!
Плату взял он, не краснея,
и железной цепью шею
обмотал мне в три ряда.

А когда пришел я снова,
он сказал мне: «Знай одно, —
женщины упрямы, но
верная моя наука;
в споре — вот тебе порука! —
верх возьмем мы все равно.

Тайно с головы у негра
срежь волос колечка три,
в молоке их повари,
выпей тот отвар молочный.
Исцелишься, это точно,
верь науке, не мудри».

Только уж на этот раз я
не поверил колдуну.
«Что ж, — подумал я, — начну
с болью со своей мириться:
кураца, как говорится,
привыкает к типу».

Так и шло. Но как-то раз
наш священник многословный
стал меня тоской любовной
попрекать, — грешно живу.
Называл он ту вдову
дочерью своей духовной.

И сказал священник так:
«Знай ты, грешник недостойный,
что супруг ее покойный
строгий положил зарок:
чтоб никто другой не мог
обвенчаться с нею снова.
В том с нее, как занемог,
взял он клятвенное слово.

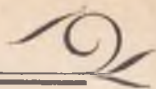
Бог велит, чтобы отрекся
ты от прихоти своей.
Докучать вдове не смей:
коль она не сдержит клятвы,—
попадете оба в ад вы,
ты погибнешь вместе с ней».

Тут-то я уж отрезвел.
Все еще страдая люто,
изменил свой путь я круто.
Да, совет — хорош иль плох —
действует сильнее, чем рута,
цеи и чертополох.

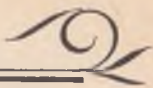
Я узнал, что оп судье
молвил так: «За это чадо
я не поручусь, вам надо
вдаль спровадить молодца.
Он паршивая овца,
отлучим его от стада».

С радостью таким речам
внял судья наш плутоватый.
И, ни в чем не виноватый,
в скором времени был взят
в пограничный я отряд.
Так я угодил в солдаты.

Что ж, за вдовушками бегать
не охотник больше я,
но попозже в те края
заявлюсь я все едино.
Как моя там животина?
Пусть мне даст отчет судья.



Так рассказ Мартина Фьерро
и его сынов рассказы
были праздничному люду
в поученье и утеху.
Десять лет, лет безотрадных,
провели они в разлуке
и теперь, найдя друг друга,
были счастливы безмерно.
И когда они умолкли,
от толпы вдруг отделился
человек и позволенья
попросил стать с ними рядом.
Парень молодой и ладный,
он с учтивостью держался,
был он пришлый, — лишь недавно
появился в той округе.
Говорили, что вернулся
он со службы пограничной,
что на скачках па последних
лавочника обыграл он;
но на праздник он явился
в бедной, порванной одежде:
истинным певцам прилично
только бедностью гордиться.
У старейших испросил он
дозволения молвить слово;
имени не открывая,
объявил чистосердечно,
что его Жуком прозвали,
и, когда честному люду
выслушать его угодно,
то, рассказ его услышав,
кто таков он — все узнают.
Тут он взял свою гитару,
тут собрание притихло,
и, перебирая струны,
начал свою повесть Жук.



Жук

Уж простите, — мне придется
не с веселого начать.
Рано потерял я мать
и не мог ни в малой мере
я тогда своей потери
ни оплакать, ни понять.

И не знал тогда, не ведал,
беззащитный я малец,
кто и где был мой отец.
Должен был я сам кормиться:
не успевши опериться,
выпал из гнезда птенец.

Пограничная охрана, —
да к тому еще война! —
ведь для этого нужна
ополченцев тьма какая!
Оттого земля родная
безотцовщины полна.

Я-то выжил потому,
что мальцом еще, бывало,
коль ко мне что попадало,
уж не выпускал из рук.
И за то ко мне пристала
с малолетства кличка — Жук.

Нанялся я к одному,
взял меня он за подпaska.
Войлоков протертых связка —
вся награда мне за труд.
А к тому же был он лют, —
что ни день, то брань да таска.

От рассвета до заката
я стерег хозяйский скот.

Ежели овца падет —
мой хозяин так лютует!..
И стервятники пируют,
лакомятся за мой счет.

Опротивела мне скоро
жизнь с хозяином таким:
злой, скупой да нелюдим.
Я решил искать удачи.
Подвернулся цирк бродячий, —
в Санта-Фе махнул я с ним.

Стал меня один циркач
(мастер был он на все руки)
обучать своей науке,
и мечтал я об одном:
стать канатным плясуном.
Но судьба нам строит штуки.

Рассмешил народ однажды
я дырою на штанах:
смех, свистки — возьми их прах!
Я и грянулся с каната.
Да, узнав однажды страх,
брось искусство акробата.

Что же делать, если снова
я остался ни при чем?
Наниматься пастухом?
Но — бывают же находки! —
объявились вдруг две тетки,
взяли сироту в свой дом.

Скоро я привык, — спасибо
родственной их доброте, —
жить в уюте, в чистоте.
От еды ломились полки.
Только были ж богомолки
старые девицы те!

Чуть затеплится заря,
уж перебирают четки
обе набожные тетки,
а когда в полночный час

видят сны все в околотке,
молятся еще у нас.

И вот тут, — ну что ты скажешь,
знать, бесенок-озорник
хитростью в меня проник, —
только стану на колени,
изготавливаю для молений, —
заплетается язык.

Это портило мне радость
беспечального житья.
Пытка началась моя
в день, когда единым духом
должен был назвать старухам
десять заповедей я.

Хоть служанка их — мулатка
подказала мне пяток,
помощь не пошла мне впрок.
Знал, чего хотели тетки,
только вытолкнуть из глотки
слово «заповедь» не мог.

«Заповеди ты господни
помнишь?» — сдерживая гнев,
молвила одна из дев.
Помнить помню и сегодня,
как, от страха опалев,
брякнул: «Заводи господни...»

Получил я по затылку!
Отрезвил меня тумак.
Но силен, как видно, враг,
злой служитель преисподней,
и поправился я так:
«Тьфу ты, — зануди господни...»

И, кажись, ведь у старух
я учился не напрасно
и молился распрекрасно
днем. А как настанет ночь, —
уж молиться мне невмочь.
Бес тут путал, это ясно.

Все мулатка виновата:
у нее дурной был глаз.
Должен был сказать я раз
«Киприан, святой угодник»,
ляпнул же, как на заказ:
«Киприан, святой негодник».

Тут одна меня по шее,
а другая по губам.
Разозлился я и сам
и при том, что нравом кроток,
мысленно отправил теток
с их молитвами — к чертям!

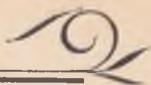
А на праздник Вознесенья
вырвали мне клок волос.
Тетки задали вопрос —
что за праздник, в чем тут дело?
Тут мулатка поглядела,—
обмер я и вздор понес.

Можно это объяснить
лишь бесовским наваждением:
вознесенье «разнесеньем»
я назвал. Вот был разнос!
Я и то считал везеньем,
что осталась часть волос.

Я не мог забыть обиду.
Причиненное мне зло
мучило меня и жгло.
И в своих молитвах с пылом
я взывал к небесным силам,
чтобы теток разнесло.

Днем все четверо в молитве,
вечером читаем мы
жития святых, псалмы...
И когда все это дело
мне вконец осточертело,
я удрал,— как из тюрьмы.

Песнь двадцать вторая



Снова я бедней, чеммышь,
без друзей и без дороги.
Ладно! Ни к чему тревоги,
как-нибудь да буду сыт:
ведь журавль и то стоит,
несмотря что одноногий.

Горько вспомнить, до чего
жизнь моя была печальной
в той поре первоначальной.
Ремесло я изучил
после уж, когда служил
в гвардии национальной.

Там я до конца проник
в тайны той науки сложной,
что зовут игрой картежной.
И, с трактирщиком одним
заключив союз надежный,
стал работать вместе с ним.

Меченную мной колоду
(ставил я искусный крап)
среди новых клал он в шкаф.
С ним на пару в той таверне
обирал ежевечерне
я подвыпивших растяп.

Ты растяпа, если в картах
доверяешься судьбе.
Побеждает тот в борьбе,
для кого игра — работа,
не оставит он в два счета
и рубашки на тебе.

Если у меня вдобавок
за столом есть свой партнер, —
будь ты, словно бес, хитер,
мы вдвоем тебя осилим.

А богатым простофилям
чистый будет тут разор.

С ловким игроком нельзя
полагаться на удачу.
Вот возьмем, к примеру, сдачу:
хоть колода на виду,
я глаза вам отведу,
карту сброшу и припрячу.

Скажем, видел ты случайно,
по оплошности моей,
что на вскрышке туз червей.
Ставка сделана... Постой-ка,
где твой туз? Открылась тройка!
Кто ж из нас двоих хитрей?

В горке главное — споровка,
цепкость пальцев там нужна.
Днем сесть надо у окна,
вечером — к огню поближе,
да скамейку взять пониже:
снизу вся игра видна.

Место выбирайте сразу, —
тут большого нет секрета, —
чтоб противник против света
видел карты хуже вас.
Главный козырь в играх — это
памятливый, острый глаз.

Новичок да против света —
все едино что слепой,
где ему играть со мной?
Дам, для пущего азарту,
взять одну-другую карту,
зацеплю, а там он — мой!

Каждый григго мнит себя
знатоком игры картежной.
Поначалу осторожный,
входит он в азарт, и глядь —
уж его за жабры можно
голыми руками брать.

Как ни лезет вон из кожи,
не спасется ничем
тот проstack: ведь незнаком
он с набором штук игрецких.
В играх всяких, даже в детских,
выигрыш берут умом.

В карты побивал я всех,
будь то *горка*, будь *девятка*;
передержка и накладка
мною не раз пускались в ход,
как сдавать был мой черед,
но всегда сходило гладко.

В *труко* для партнеров тертых
был я сущая напасть:
каждый раз, как карты класть,
разбирала их досада,—
у меня туз пик, иль «масть»,
или «парочка» что надо.

Это ремесло давало
мне порядочный доход.
Если кто игрой живет,
должен рвать с кого попало...
Правда, за обмен колод
и трактирщик драл немало.

Карты игрокам подаст
(не бывало тут промашки)
в хрусткой гербовой бумажке,
и приложена печать;
по при том я мог узнать
карту каждую — с рубашки!

Да, опасная работа!
Только знал я ремесло:
те, кому не повезло,
проверяют пусть колоду,—
все концы упрятав в воду,
чистым буду, как стекло.

Приглашали, — я и в кости
был не против сыгрануть.

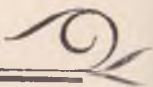
К выигрышу верный путь
есть и тут: готовый к бою,
кости я носил с собою,
где свинец был или ртуть.

В бабки всех я побеждал
(кость имел с нутром свинцовым),
бильярдистом был толковым, —
друг за дружкой клал шары,
в камушки играл... Ну, словом,
был знаток любой игры.

Да, скажу вам, жить игрой —
значит стать на путь обмана,
ждать в засаде, у капкана —
вдруг судьба пошлет глупца.
Грех обворовать слепца,
грех и обыграть болвана.

Я занятие это бросил
и беды не вижу в том,
что поведал обо всем
мне по опыту известном.
Выгодней трудом жить честным,
чем вседневным плутовством.

Песнь двадцать третья



Неаполитанец как-то
с коробом пришел товару;
с музыкантом он на пару
странствовал. Не мудрено,
что ему в *тридцать одно*
в тот же вечер дал я жару.

Дурачком я притворился:
мол, в бильярде ни аза.
Клюнул, — знать, ему глаза
отвела Санта-Лючия;
тут сажать как стал шары я,
треск был — словно бы гроза!

И бранясь, и причитая,
он оплакивал беду:
«Вор! Управу я найду
на обманщика, на вора!..»
В пончо сгреб я без разбора
всю его хурду-мурду.

Обыграл я торгаша,
признаюсь, без сожаленья:
дело было в воскресенье,
гринго сам был не святой,
и его моей рукой
покарало провиденье.

Только я старался зря!
Сразу кот учуял сало:
то добро не миновало
длинных загребущих лап
полицейского капрала
по прозванью Куроцап.

Расшумелся он, что просьба
пострадавшим подана,
что игра запрещена,
что тюрьма по мне скучает,
что «в казну» он забирает
весь мой выигрыш сполна.

С той поры не мог я видеть
мерзкое его мурло!
Каюсь, коль на то пошло —
я ограбил ротозея,
но грабитель мой подлее:
власть употребил во зло.

Знали все, что был он вором
и скрывался от суда;
но сумеет уж всегда
спеться с ястребом ворона, —
и преступник без труда
стал блюстителем закона.

Разъезжал он по округе,
якобы ловил воров.
Что и говорить, улов
каждый раз бывал хороший:
вьючный мул кряхтел под ношей —
кур там было, индюков...

Так за месяцем шел месяц,
но не только не ослаб,—
все крепчал его нахрап.
Эту жадную скотину
клял народ,— мол, десятину
снова вводит Куроцап.

Мнил себя певцом. Вот как-то
врал напев он и слова,
выпучившись, как сова,
подпирая задом стенку.
Я как гаркну: «Ишь расква...
Ишь расква... сил я коленку!»

Глянув зверем, продолжал
вить свою он панихиду,
не показывая виду,
что расчухал мой намек.
Но я знал, что в должный срок
он оплатит за обиду.

Как-то, угодив в участок
(был, признаться, пьяноват),
распотешил я солдат:
«Братцы! Выпил-то две капли!
Все пьют,— каждый на свой лад,—
индюки ли, куры, цап... ли».

Крякнув и налившись кровью,
будто треснул башкой,
прохрипел он: «Ну, постой!
Выдастся удобный случай,—
ты попомнишь, гад ползучий,
будешь знать, кто я такой!»

Да к тому ж еще бабенка
встряла промеж нас, на грех,—
крепенькая, как орех,
и была такая слава,
что она,— хоть не для всех,—
но покладистого нрава.

Раз она пекла лепешки,
я зашел, а он уж там.
«Может, помешал я вам? —
оглядел я эту пару.—
Коль сеньоре мало жару,
то скажите,— я поддам».

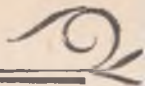
Он надулся, а она,
чтобы избежать скандала,
мне в ответ: «Да, жару мало,
подложить дровец пора;
принеси-ка со двора,
знать, услужливый ты малый».

Если Куроцап и прежде
зуб имел против меня,
то уж с этого-то дня
попросту остервенился.
«Доберусь уж,— он грозился,—
я до этого шпыня!»

Видел я, что полицейский
жаждой мести обуян
и, наверно, уж капкан
мне готовит тихомолком.
Коль баран поспорит с волком,
виноват всегда баран.

Сила ведь солому ломит,
прет лишь дурень на рожон.
Был я жизнью умудрен
и берегся с той поры
выйти из своей норы,
если рядом рыскал он.

Песнь двадцать четвертая



Как ни расставлял ловушки
мне проклятый Куроцап,
до поры из его лап
все ж я ускользал умело.
Время выборов пришло,
тут меня и — цап-царап!

Много было разных списков.
По причине этих дел
спорился народ, шумел,
и случались потасовки.
Только зря: на подтасовке
наш судья собаку съел.

В самый день голосованья
вышел Куроцап вперед,
стал запугивать народ:
«Одного держитесь сниска,
а не то, мол, не без риска,
прахом *опчество* пойдет».

Вырвать мой хотел листок —
не того он, дескать, цвета,
только что не вышло это,
я не отдал. Тут он в крик:
«Как! Ты, значит, бунтовщик,
не за список *Кумитета?*»

Хоть остерегался я, —
как обиду снести такую?
Гаркнул я напрадалую
в морду злыдню и рвачу:
«Ладно! За кого хочу,
за того и голосую!

Все на выборах мы ровня,
как за карточным столом.
Если в праве я своем,
ты ко мне не суйся близко, —

ты ни карт моих, ни списка
не отнимешь нипочем!»

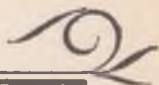
Вот за эти-то слова
очутился я под стражей.
Он смошенничал, сын вражий,
и поймал меня в силок.
Драться с ними я не мог:
хуже было б для меня же.

Так из-за каких-то «списков»
умудрился я попасть
к этой гадине во власть.
Разговор тут был короткий,
понатешился он всласть —
засадил меня в колодки.

Словно бы раскрыл глаза мне
этот явный произвол,
он на память мне привел
много былей вопиющих.
Да, народ для власть имущих —
только подъяремный вол.

Правосудье, что обычно
не спешит, — таков уж нрав, —
тут помчалось вдруг стремглав:
мне в три дня решение вышло.
Да, закон у нас — что дышло,
кто сильнее, тот и прав.

Песнь двадцать пятая



Только выборы прошли,
власть решила, что не худо
взять, — все налицо покуда,
не разъехались пока, —
часть собравшегося люда
в пограничные войска.

Оробел народ. А стража,
похватав без лишних слов
горемычных бедняков
(многих, не один десяток),
словно связку куропаток,
свой представила улов.

Оглядев их с важной миной,
Куроцап изрек: «Вы сброд,
я возьму вас в оборот!
Слушаться беспрекословно!
Заберем всех поголовно,
ни один не улизнет».

Комендант пришел. Мы разом
охнули: «Спаси, Христос!»
Куроцап ему принес
список всех, попавших в клетку.
Каждому задав вопрос,
делал комендант пометку.

П е р в ы й вызванный был негр.
«Ты, встать смирно! Ишь, на вид
и воды не замутит,
а ведь сам злодей отпетый.
Служба, ты уж не посетуй,
зло в тебе искоренит».

В т о р о м у:

«В нищете твоя семья.
Так какой же ты мужчина,
коль свой долг, долг семьянина,
взять никак не можешь в толк?
В ополченье, дурачина,
ты узнаешь, что есть долг».

Т р е т ь е м у:

«И с тобой хлопот по горло.
Что ж на выборы ты, друг,
опоздал? Иль недосуг?
Не объявишься ли хворым?
Знать, отбился ты от рук,—
в войске будешь под надзором».

Ч е т в е р т о м у:

«Мне сдается, ты, парнишка,
в нашем округе — чужак:
не припомню я никак,
чтобы я с тобой встречался.
Ты к судье хоть раз являлся?
Стало быть, ты из бродяг».

П я т о м у:

«Вот еще один смутьян.
Говорят, что в пульперии
речи ты ведешь пустые,
подстрекаешь там народ?
Мы вас вылечим, витии:
в ополченье дурь пройдет».

Ш е с т о м у:

«Стало быть, подать свой голос
ты не хочешь нипочем?
Мы его тут ждем-пождем,
а гордец наш фордыбачит:
только выборы назначат —
глядь, он в округе другом».

С е д ь м о м у:

«Ты отъявленный лентяй,
нет ни службы, ни достатка,
темная ты, брат, лошадка,
надобно тебя убрать
с тем, дабы не мог ты стать
нарушителем порядка».

В о с ь м о м у:

«В гвардии национальной
отслужил ты? Нужды нет.
Дай-ка мне сюда билет —
разберутся командиры.
А подашься в *дезеньтиры*,
знай, не оберешься бед».

Д е в я т о м у:

«Вот как, льгота у тебя?
На дурном счету давно ты.

Ловок — получает льготы,
а голосовать нейдет,
путает нам все расчеты.
Для смутьянов нету льгот».

Каждому был свой резон,
каждому — своя причина,
приговор же, все едино, —
был за кем иль не был грех, —
общий ожидал нас всех,
общая ждала судьбина.

Тут заголосили враз
сестры, матери и жены;
причитанья их и стоны
слушать было невтерпеж.
Но начальство не проймешь:
у него в руках законы.

Что за важность, коль над сыном
безутешно плачет мать,
коль на произвол бросать
должен муж жену с детьми?
Молча эту казнь прими,
понапрасну слов не трать.

Женщине куда ж деваться?
Помощь ей одна — сосед.
Но уж так устроен свет, —
все по этой части слабы;
хватит ли ума у бабы
соблюсти себя иль нет?

Люди бросились к судье:
где еще искать опоры?
Сразу, не вдаваясь в споры,
он вильнул в кусты, точь-в-точь —
от погопи лис матерый:
«Я бессилен вам помочь!

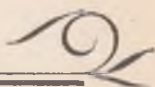
Это дело коменданта,
набирает он солдат,
я же в том не виноват,
что устав военный строгий.

Одним словом, тут я ноги
умываю, как Пилат».

Прямо разрывалось сердце!
Вот беда так уж беда!
Шутка ли глядеть, когда
мать с ватагой деток малых,
изнуренных, одичалых,
тащится невесть куда?

Да, теперь уж с пищетой
вы должны сражаться сами,
справиться легко ей с вами,—
думал я... Но речь веду
не о том я, ту беду
выразить нельзя словами.

Песнь двадцать шестая



Как меня начальник вызвал,
каюсь, я струхнул: «Ну вот
наступил и мой черед!»
Был хоть парнем я рискованым
и в карман не лез за словом,
тут воды набрал я в рот.

Глянув в список, комендант
объяснил мне деловито,
что игрок я, волокита,
всей округи стыд и срам,
что пошел я по стопам
своего отца — бандита.

Верно, был я не безгрешным,
что от вас и не таю,
по зачем он жизнь мою
разукрасил так превратно?
Тут мне Куроцап, понятно,
подложить успел свинью.

Он меня бандитским сыном
так уверенно назвал...
Значит, ябедник-капрал
кое-что пронюхал? Я же
и по имени-то даже
своего отца не знал.

Дал обет я Иисусу,
чтобы снял с души оп груз.
И помог мне Иисус:
я узнал: не вор бесчестный
был отец мой, но известный
всем своей отвагой Крус.

Слышал о сержанте Кресе
смолоду и я не раз,
часто старшие при нас
поминали для примера,
как помог он в трудный час
храброму Мартину Фьерро.

Память о делах отцовских
сыновьям живит сердца.
Вспомнил своего птенца
мой отец перед кончиной.
Как молился он за сына,
так молюсь я за отца.

И тогда я устыдился
всех своих былых грехов.
Я, узнавши, кто таков
был родитель мой покойный,
новый путь, отца достойный,
твердо выбрать был готов.

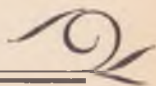
Добрый отпрыск должен множить
честь отцовских добрых дел.
Если ж сын не захотел
по тропе шагать отцовой,
будет суд над ним суровый,
вечный стыд — его удел.

Переламывать себя
было трудно лишь сначала,

после ж так легко мне стало,—
пятна смыл с души и с рук.
Только эта кличка — «Жук»
намертво ко мне пристала.

В добром имени своем
носишь ты добра частичку,
с ним и честь тебе в привычку...
Безыскусный мой рассказ
пусть остерегает вас:
не стереть дурную кличку.

Песнь двадцать седьмая



Вот как место я пашел
в горемычном многолюдье.
Если это правосудье,
что ж такое произвол?

Сплутовал со мной закон,
карты были с явным крапом:
я не ладил с Куроцапом —
он втолкнул меня в загон.

Я ему попался в руки,
и мерзавец, мелкий чин,
так, со злости, без причин,
вверг меня в тот ад на муки.

Стану ль утруждать вам слух,
поминать свои невзгоды?
Годы так ведется, годы,
вот спросите у старух.

Тот же труд весь день-деньской,
те же горькие лишенья,
караулы и ученья,
так же — платы никакой.

Тот же голод, нищета,
та же рвань взамен одежды,
и от казначейства — то же:
ни гроша, ни лоскута.

Так идут за днями дни,
знай труби, хоть через силу;
ты устал — ложись в могилу,
а живой — свой гуж тяни.

Если, не стерпев ярма,
непокорство кто окажет,
то его к столбам привяжут...
Впору тут сойти с ума!

Не было для новобранцев
даже формы, чтоб на взгляд
отличить могли отряд
от ватаги оборванцев.

Слышно, втридорога стало
ополчение казне,
но из этих денег мне
не досталось ни реала.

Под ружьем весь день потея,
мы мечтали об одном:
нам бы хоть одним глазком
поглядеть на казначея.

Если к нам и прибывал
иногда тот гость залетный,
был он как огонь болотный:
поманил, да и пропал.

Больно далеко граница,
и запаздывал он так,
что не мог солдат никак
от своих трудов разжиться.

Лучше, чем такой прием,
и не выдумать, без спора:
приезжает, а при нем —
список прошлого набора.

Тем, кто голодает ныне,
ни медяшки, как на грех;
а разыскивают тех,
коих нет давно в помине.

Этот, море бед испив,
убежал, другой в могиле,
а иного отпустили,
ни гроша не заплатив.

Уж таков он, злой и глупый,
наш уклад и наш устав:
гаучо живет без прав,
не имеет он заступы.

Срам! Когда солдаты цепью
выстроятся на смотру,
то флажками на ветру
трепыхаются отрешья!

Службой нас отягощают,
как на пахоте вола,
а уж если увольняют,
так в чем мать нас родила.

Получил ты в ополченье
пончо, лошадь или сбрую,—
у тебя при увольнении
все отнимут подчистую.

И уходишь ты, бедняк,—
вот твой жребий беспощадный,—
неимущий, безлошадный:
яко наг ты, яко благ!

Отставной солдат, увы,
вид являет певеселый:
исхудалый, босый, голый,
как петрушка без ботвы.

Летом — как-нибудь, а что же
будет делать он зимой?
Доберется ли домой
без коня и без одежи?

Нет чтоб дать страдальцам этим
из казенного добра
хоть беззубого одра, —
пусть вернутся к женам, к детям!

Но закон к тебе, сердяге,
словно к нехристю, жесток:
даже не дают бумаги
в том, что отслужил ты срок.

Срок ты отбыл до конца,
честно послужил державе,
но любой начальник вправе
счесть тебя за беглеца.

Дом твой разорен дотла,
ранчо и корраль в разрухе:
за бесцепок с голодухи
все жена распродала.

И, по чести говоря,
правды лучше не ищи ты —
не пайдешь ни в ком защиты,
время потеряешь зря.

Коль в поместье ты, бедняга,
сунешься — просить кусок,
могут дать и новый срок:
по закону ты — бродяга.

Нам пора бы отказаться
в ополчении служить:
надо воину платить,
по-людски с ним обращаться.

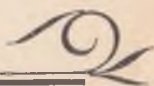
В мире многого узнать я
не сумел — от темноты, —
но узнал: для бедноты
жизнь есть чистое проклятье.

Все помалкивают что-то,
а давно пора сказать:
если родина нам мать,
где ж о нас ее забота?

Сколько нас в солдатах мерло!
Если ж ты живым ушел,
ходишь под ярмом, как вол,
чтобы кто-то жрал в три горла.

Испытавши этой жизни,
горький я вопрос задам:
как питать любовь к отчизне,
столь жестокой к сыновьям?

Песнь двадцать восьмая



Без костей, как говорится,
наш язык — болтает сам;
я ж хотел поведать вам,
как жилось мне на границе.

От тоски, от непокою
средство, знаю, есть одно:
повторяй лишь «Все равно!»
и на все махни рукою.

Сокрушаться мало прока.
Я напомнить вам могу:
рыба ищет, где глубоко,
кошка жметя к очагу.

Говорю я так к тому,
что всегда у человечка
цель одна: найти местечко,
лучше было б где ему.

Лямку я тянул сначала
как другие, но потом
сделался я денщиком,
тут уж мне полегче стало.

Хоть судьба не отвела
от меня солдатских бедствий,
все ж есть выгода в соседстве
офицерского котла.

Это было мне с руки.
К счастью своему большому,
поступил я к полковому
адъютанту в денщики.

Он особняком держался,
с книжками сидел всегда, —
в ранние свои года
стать монахом собирался.

Слыша за своей спиной
шутки, не бывал в обиде;
часто он смотрел, не видя, —
ну ни дать ни взять святой!

Неженка, — спал на кровати.
Чем-то (уж не знаю я)
ненавистный нашей братье,
прозван был «Ворожея».

Занят был мой адъютант
службой незамысловатой:
получал на всех оп мате,
курево и провиант.

Лишь на месте мы осели, —
я прикинул что к чему
и пристроился к нему
как помощник в этом деле.

Ох, уж эта солдатня!
Им потеха даровая,
зашушукались, кивая
на него и на меня:

«Ну, теперь нам горя мало,
раз Ворожея и Жук
снюхались, они сам-друг
нас накормят до отвала».

Жизнь моя и впрямь текла
при таком начальстве гладко.
Объяснить могу вам кратко,
как там делались дела.

У Ворожси, по слухам,
сговор был с поставщиком.
«Где, мол, офицер с умом,
там солдат с голодным брюхом.

Знаем, мол, — не без причины
неважнецкий наш припас,
и по весу каждый раз
не хватает половины.

Стежка, мол, проторена,
делятся они, плутяги,
и, конечно, на бумаге
ставят: «Получил сполна».

Каждый этим разговорам
верить или нет волен.
Вот дальнейший путь, которым
шел солдатский рацион.

Принятый Ворожеей, —
так ли, этак, — в полковую
поступал он кладовую;
там уж был начальник свой.

Там от мала до велика
все штабные, кто как мог,
брали — на сейчас и впрок,
ведь своя рука владыка.

Как паек поступит в роту,
тут уж ротный — его власть! —
для себя отхватит часть,
сколько самому в охоту.

Верный заповеди шкурной:
«Сам себе ты первый друг»,
как тут не погреет рук
каждый офицер дежурный?
Червячок да муравей
нас обгложут до костей!

Хоть при этом провиант
поубавился порядком,

должен все-таки остатком
пожиться и сержант.

Так, пройдя мало-помалу
через командирский штат,
шло довольствие капралу
для раздачи — на солдат.

Самого себя капрал,
уж конечно, не забудет;
кто проверит, кто рассудит,
сколько отдал, сколько взял?

Как отхватят по ломтю
друг за дружкой эти хваты, —
с чем останутся солдаты?
Весь их рацион — тю-тю!

Раздадут им все поскребки, —
из несчастных этих крох
сварят разве (дай-то бог!)
в складчину котел похлебки.

А с кого за это спрос?
Дескать, выдаем сполна вам,
что положено уставом! —
и давали с гулькин нос.

Иногда, — и молвить страх, —
ополченцам доставался
только сор, что оставался
в опорожненных мешках.

Можно ль не озлиться тут
с адовой такой напасти?
Дескать, мало денег власти
на кормежку выдают.

Эх!.. Понять я и не тщился —
в темноте свой век прожил;
ничего я не забыл,
ничему не научился.

Все равно,— силен ли, слаб ли,
прав ты или виноват,
не бунтуйся,— усмирят
то ли палкой, то ли саблей.

Коль одежды вдруг какой
и подкинут, так при этом
если зимнюю, то летом,
если летнюю — зимой.

Хоть бы кто-нибудь, хоть раз,
объяснил бы нам все это!
Но другого нет ответа,—
сверху, мол, такой указ.

Власти у кого с мизинец,
всяк глумится над тобой.
Вот когда шлют на убой:
«Гаучо, ты ж аргентинец!»

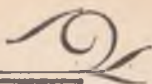
Срам глядеть на эту рать!
Мы шутили через силу:
все равно наш путь — в могилу,
так зачем нас одевать?

Кто народ от бед избавит,
кто оборонит от зол?
Кто бы к власти ни пришел,—
что найдет, то и оставит.

От иных — бог им судья —
слышал и такую речь я:
«Гаучо — как шерсть овечья:
только лучше от битья».

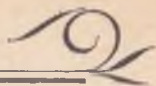
Эх, судьба! Уйдешь от тех —
доконают тебя эти...
Может, гаучо в ответе
за какой-то страшный грех?

Песнь двадцать девятая



Жук на том рассказ окончил,
и молчанье воцарилось;
а потом все зашумели,
радуясь столь дивной встрече.
Но уж так в тот день случилось,
так пришлось одно к другому, —
в той толпе, среди креолов,
оказался чернокожий,
знавший в пенье толк и мнивший
сам себя певцом из первых.
Будто просто так, без цели,
с равнодушьем нарочитым
(только от людей не скроешь
затаенную враждебность),
вышел он вперед, уселся
и, гитару взявши в руки,
пальцами провел по струнам.
Он напыжился и, чтобы
общее привлечь вниманье,
кашлянув, прочистил горло.
Тут-то все и распознали,
что у негра было в мыслях:
явно он на состязанье
вызывал Мартина Фьерро,
вызывал высокомерно,
безбоязненно и дерзко.

Тут и Фьерро взял гитару,
с коей был он неразлучен,
и примолкшее собранье
стало слушать двух певцов.



М а р т и н Ф ь е р р о

Лишь заслышу я гитару,
лишь застонут струны в лад —
я сажусь с певцами в ряд:
песня радует мне душу,
в честном споре я не струшу,
с ровней побороться рад.

Слушайте, кто хочет слушать,
и простить прошу вас всех,
коли будет в чем огрех:
всякий может ошибаться,
кроме разве только тех,
кто за труд не хочет браться.

Мой совет певцу — не чванься,
коли будешь ты в чести,
а не будешь — не грусти.
Привелось нам выйти вместе,
значит, песнь — тут дело чести —
на два голоса вести.

Коль такой уж выпал случай —
отчего же свою прыть
па людях не проявить
всем в утеху и во здравье?
Тут не скромность, а тщеславье —
заставлять себя просить.

Смолоду я был певцом,
был веселым от природы,
но пришли крутые годы, —
с самой той поры и впредь
обречен судьбой я петъ
горькие свои невзгоды.

Если груз воспоминаний
сбросить с плеч удастся мне,

отчего бушуют вихри, —
то, что неизвестно белым,
негру бедному открыто.

Коль со мной добром — я добрый,
коли худом — я худой.
Ежели противник мой
хочет спорить — спорить будем.
Нам двоим шагать, а людям
разбираться, кто — хромой.

Если что пескладно выйдет,
пусть простит честной народ,
перед коим довелось
мне слагать куплеты эти:
нет нескладицы на свете,
чтобы худшей не нашлось.

Пусть певец и с черной кожей,
песнь не стоит обрывать;
слушать да на ус мотать
никому не помешает:
кто несведущ, тот узнает,
знавший будет крепче знать.

И за черным лбом бывают
мысли светлого светлей;
может, хоть лицом черней,
я душой не хуже прочих.
Что чернее черной ночи?
А ведь блещут звезды в ней!

Хочешь петь вдвоем — изволь.
Брось вопрос мне для начала,
и, хотя учен я мало,
к многолюдству не привык,
грубый у меня язык —
отступать мне не пристало.

М а р т и н Ф ь е р р о

Негр, тебе ль меня бояться,
если так ты умудрен?
Но, коль я спросить волен, —
услыхать хотелось мне бы,

под гитарный перезвон,
что зовешь ты песнью неба?

Н е г р

Слышно, первый из людей
был курчавым, чернокожим,
словом, на меня похожим;
белым удалось потом
память истребить о нем,
как о первенце о божьем.

Белый ад изобразит —
черта он малюет черным,
негр малюет белым черта.
Краска — что? Ведь суть не в ней:
бог, что создавал людей,
не делил их на два сорта.

Вот с чего хотел пачать я,
а теперь ответ держу.
Вам, сеньоры, я служу
и, собравью на потребу,
как умею, расскажу,
что зову я песнью неба.

Много песен знает небо,
и печальных и веселых:
в них роса беззвучно плачет,
в них разгульно ветер свищет,
то в них бурный дождь рыдает,
то веселый гром хохочет.

М а р т и н Ф ь е р р о

Белых создал бог и черных,
мы равно его сыны,
и в страданиях мы равны.
Но ведь создал бог вначале
свет — дабы мы отличали
черноту от белизны.

Так не надо обижаться
и других язвить не след;
в цвете кожи срама нет,

но и хвастать им негоже:
всяк живет до смерти в коже
в той, в какой рожден на свет.

Я люблю певцов отважных,
что посмели и смогли.
Так еще нам удели
своего крупицу знания:
я прошу, уважь собрание,
расскажи про песнь земли!

Н е г р

Знаниями я не хваюсь,
но не больно я пугливый,
а напарник мой пытливый
раздразнить сумел меня:
так умеет из кремня
искры высекать огниво.

На вопрос я так отвечу
по своим познаниям скудным:
в песне, что земля поет нам,
слиты с плачем материнским
стоны тех, кто умирает,
крики тех, кто родился.

М а р т и н Ф ь е р р о

Негр, поешь ты как мужчина,
несмотря что ты юнец.
Истинных мужчин творец
наделил таким отличьем,
так же и в семействе птичьем:
птица с голосом — самец.

Коль имеешь этот дар
и, словам гитарой вторя,
ты из радости и горя
можешь плесть куплетов вязь,
не смущаясь, не кичась,
расскажи о песне моря.

Н е г р

Я судить о певчих птицах
не берусь — не птицелов.

Говорят, с десяток слов
может затвердить сорока,
но лишь самка; от самцов
в этом деле мало прока.

Уж не знаю, разуменья
мне достанет или нет,
чтобы дать тебе ответ.
Но взялся, так уж, не споря,
за тобой иду вослед:
расскажу о песне моря.

Ежели бушует буря —
завывает и ревет, —
это море песнь поет:
надрывает оно душу,
горько жалуясь, что суша
волнам ходу не дает.

М а р т и н Ф ь е р р о

Ты пока свое искусство
показал едва па треть;
на вопрос еще ответь,
коль твоей достанет мочи:
есть ведь песнь у темной ночи,
можешь ты о ней нам спеть?

Н е г р

Не вонзай без нужды шпоры,
больше думай о коне, —
так говаривали мне.
Знай, расспрашивать охочий,
знай: немало песен ночи
я подслушал в тишине.

Лишь на суету дневную
ночь накинет свой покров,
раздается чей-то зов,
и на этот зов печальный
отвечает отклик дальний
из певедомых краев.

И пока не встанет солнце,
не прогонит мрак ночной, —
спящих будят вперебой

стоном, шепотом несмелым
души, что расстались с телом:
ждут молитв за упокой.

М а р т и н Ф ь е р р о

Негр, ты похвалы достоин
за искусный твой ответ,
поговорок и примет
помнишь ты, видать, немало,
знаний у тебя достало
объяснить и мрак, и свет.

Что ж, продолжи то, что начал,
и не говори «не дюж»,
коли сам взялся за гуж.
Только знай, что нам с тобою
незачем мешать покою
к богу отлетевших душ.

Рассудительным моим
не пренебреги советом,—
злоба в песне под запретом.
Вот еще вопрос, и вновь
нас порадуй ты ответом:
как рождается любовь?

Н е г р

Бедный негр, простой пеоп,
выдержу ли испытанье?
Приложу я все старанья,
соберу уменье все;
знать невежество свое —
в том уж есть крупица знанья.

Птаха вьется в поднебесье,
ты взглядишь в ее полет,
вслушайся: она зовет
милую свою подругу.
Эта малая пичуга
песнь любовную поет.

Зверь — он в логове укромном
ото всех любовь таит;
вслушайся, как он рычит:
петь не может хищник дикий,

но в его свирепом рыке
песнь любовная звучит.

Всем — от мошек до людей,
сущему всему знакома
та любовная истома;
так уж рассудил господь:
он, создав живую плоть,
дал любовь всему живому.

М а р т и п Ф ь е р р о

Что же, негр, признать я должен —
ты искусен и смышлен;
был сперва ты мне смешон,
но сумел внушить почтение.
Сделай же нам одолжение,
расскажи: что есть закон?

Н е г р

Тьма премудростей на свете,
где мне все их понимать?
Лишь в своем — скажу опять —
я невежестве уверен;
но сдаваться не намерен,
ты спросил — мне отвечать.

Никакой я не искусник,
но в одном ты все же прав:
у меня упрямый нрав —
только подзадорь меня ты!
Так заваривают мате:
кипятком траву обдав.

Вот еще одна задача,
всех мудреней, всех трудней.
Разберусь ли толком в ней?
Так закон могу понять я:
писап всем он без изъятья,
а гнетет — простых людей.

С паутиной схож закон.
Он большому господину —
толстосуму или чину —
угождает, как слуга.

Кто силен — рвет паутину,
застревает мелюзга.

Ктоли грянет он, как ливень,
от него куда уйдешь?
Он людей кидает в дрожь.
Только будет всяк согласен:
наостренный нож опасен
не тому, кто держит нож.

Говорят: «Меч правосудья!»
Что ж, не спорю: только тот,
кто его пускает в ход,
рубит им наудалую
и не видит зачастую,
чьи он головы сечет.

Грамотей ответ бы дал
на вопрос такой мудреный
целой книжицей ученой;
я скажу на этот счет,
что под вывеской закона
беззаконие живет.

М а р т и н Ф ь е р р о

Негр, ты славные ответы
на вопрос даешь любой.
Встрече радуюсь с тобой,—
знай, в тебе есть искра божья.
Ты свой путь средь бездорожья
отыскал — гордись собой.

Песнь поешь ты складно, вольно,
против правды не греша,
тем она и хороша.
Правде той поклон мой скромный.
Важно ль, что с лица ты темный,
коль светла твоя душа?

Спорю я с тобой как равный,
пусть ты молод, нужды нет.
Нам, певцам, таить не след
от других свои познанья;
спрашивай, коль есть желанье,
мой черед держать ответ.

Негр

Спрашивать ты предложил,
я не стану упираться;
оплошаю, может статься, —
ты меня тогда поправь.
Что ж, начну: пустился вплавь,
так нельзя воды бояться.

Хочется узнать побольше,
жить невеждой тяжело.
Может, коль на спор пошло,
облегчишь ты это бремя?
Объясни мне — что есть время,
вес, и мера, и число.

Дашь ответ — твоей победой
и закончится наш спор,
не нарушу уговор.
Скольких уж певцов я встретил —
на вопросы не ответил
ни один мне до сих пор.

Взять число: зачем оно?
Может, мыслю я превратно,
только мне вот непонятно:
почему творец опять
все, что он решил создать,
повторяет многократно?

Мартин Фьерро

Негр, ты, скорый на ответы,
на вопросы тоже скор;
не иначе, с давних пор
ты замыслил нашу встречу.
Что ж, попробую, отвечу,
может, тем и кончим спор.

И земля одна, и солнце,
лишь один и месяц ясный, —
бог творил, без повторенья,
мир единый, мир согласный.
Жизнь — едина: эту жизнь
бог вдохнул во все живое,

счет же человек придумал,
чтоб создать все остальное.

Н е г р

Что ж, теперь другой вопрос
я задам Мартину Фьерро:
невдомек мне, маловеру,
невдомек мне: почему
в мире сущему всему
положил создатель меру?

М а р т и н Ф ь е р р о

Я отвечу, и волен ты
мой ответ принять на веру.
Человек себе на пользу
выдумал число и меру.
Суется человек,
отмеряет шаг свой каждый,
бог же мерил лишь однажды:
он людской отмерил век.

Н е г р

Мне ответь — и твой признаю
надо мною перевес;
не пустой мой интерес,
но певцу знать нужно это,
потому и жду ответа
на вопрос: что значит вес?

М а р т и н Ф ь е р р о

Много в мире божьих тайн,
их, не мудрствуя, приемлю.
Вес дал всем вещам создатель,
чтобы падать им на землю.
А еще мое об этом
есть такое разуменье:
на своих весах он паши
взвешивает прегрешенья.

Н е г р

На вопрос теперь последний
жду ответа твоего, —
и твое тут торжество

сам признаю перед всеми.
Для чего бог создал время?
Разделил зачем его?

М а р т и н Ф ь е р р о

Что же, и на этот счет
выскажу мое сужденье:
время — это промедленье,
все приходит в свой черед.
Вечным колесом катиться
времени в удел дано:
не было ему начала
и не кончится оно.
Разделили время — люди
с тем, чтобы могли они
оглядеть былые годы,
глянуть в будущие дни.

Если есть еще вопрос
(вижу, ты пытливый малый),
дальше спрашивай, пожалуй,
я отвечу, как могу.
Вдруг я, старый да бывалый,
молодому помогу.

Сроду не был я кичливым,
не грешил и похвальбой;
только нашею борьбой
я не утомлен покуда.
В самый раз бы нам с тобой
спеть про жизнь простого люда.

Спой-ка, негр, о чем попроще,
что дудеть в одну дуду?
Приготовься, подожду.
Спой, — послушать всем в охоту, —
про себя, свою работу
в пампе, в летнюю страду.

Н е г р

Если знаньями я беден,
то не по своей вине.
Где уж петь мне наравне
с мастерами высшей пробы?

Только не прошу я, чтобы
делали поблажки мне.

В том, что я невежда круглый,
не признался ли я сам?
Побежденным быть не срам,
я не лезу во всезнайки;
но скажу вам без утайки,
что дразнить себя не дам.

В скачках тот не будет первым,
кто не ловок, кто не скор;
проигравши, свой задор
должен обуздать теперь я.
Что ж, рискует подмастерье,
с мастером затеяв спор.

Новичок дорогу в пампе
ищет на манер слепца:
кружит, кружит без конца,
обессилевши, измучась...
Вот на что похожа участь
побежденного певца.

Дуб и тот под ветром стонет,
ветви мощные клоня,
не судите и меня,
коли песнь звучит надсадно:
бесконечна, безотраднa
ночь после такого дня.

Слишком горько будет мне,
если зарекусь от пенья,
но да будет провиденье
мне порукою, что впредь
не для славы буду петь —
только сердцу в утешенье.

Уж написано, как видно,
мне злосчастье на роду,
и, куда я ни пойду,
от злосчастья не укрыться.
Ежели бедняк взбодрится —
сразу попадет в беду.

Трудно без надежды жить,
радости не ожидая;
спуталась со мной лихая
неотвязная печаль.
Что ж, коль не рожден для рая,
на небо глаза не пяль!

И позвольте напоследок
покаянье вам принести
(скрыть не позволяет честь):
шел не только петь сюда я, —
есть обязанность святая,
долг за мной давнишний есть.

Я у матери моей
младшим сыном был, десятым;
старшим мы гордились братом —
силой, ростом, всем он взял.
Но сражен был паповал
драчуном одним завятым.

Горе было безутешно,
много слез тут пролилось.
Все мы, сообща и врозь,
чтоб найти убийцу брата,
рыскали, по супостата
отыскать не удалось.

Из могилы брат не встанет,
помянуть не след о нем;
он под солнцем и дождем
превратился в прах сыпучий.
Все ж, надеюсь, будет случай —
счет с убийцей мы сведем.

Если нам, певец почтенный,
предначертано судьбой
снова встретиться с тобой —
мы споем о наших близких
и о тех убийствах низких,
что случаются порой.

И прошу, сеньоры, вас
сделать для себя замету:
братья разбрелись по свету,

но, хоть много лет прошло,
а не позабыть им зло,
смерть не позабыть им эту.

Все назначенное нам
кроется от нас в тумане,
потому от предсказаний
воздержаться надо мне.
Разве о грядущем дне
можем мы узнать заранее?

М а р т и п Ф ь е р р о

Наконец-то затяжная
прекратилась болтовня.
Долго, путая, темня,
злое ты прятал жало, —
это с самого начала
было ясно для меня.

Раз друг дружку мы узнали —
время замолчать струнам;
не пристало также нам
портить праздник добрым людям.
Случай торопить не будем —
он небось придет и сам.

Я не знаю, что нас ждет,
быть я не хочу пророком,
но по жизненным дорогам
твердо мы должны идти;
не сверну и я с пути,
мне назначенного роком.

Вот мой путь: сперва — граница,
далее — лиходей судья,
там попал к индейцам я...
А теперь снова здорово:
скрасить старость мне готова
негритянская семья!

Стало быть, десяток вас?
Ишь, и вправду многовато;
но какая вам цена-то?

Ведь свинья родит подчас
дюжину детей зараз,
да все детки — поросята.

Бы, такие вот, как ты,
памятливы и жестоки,
драки вам нужны да склоки,
забывать вам не с руки!
Люди ведь не пауки,
что сосут из жертвы соки.

Видел белых я и черных,
всяких видел драчунов,
смельчаков и молодцов,
а еще не взят могилой.
Хочешь — песней, хочешь — силой
я помериться готов.

Все мы под ярмом, и каждый
гуж натягивает свой.
Незачем мне рваться в бой,
драка мне не тешит душу,
но перед врагом не струшу,
мертвый он или живой.

Думал я — вспахал все поле,
ан еще осталась пядь.
Да неужто мне опять
в этом колесе крутиться?
Вбитый гвоздь, как говорится,
дальше некуда вбивать.

Песнь тридцать первая



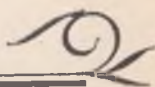
После этих слов, из коих
вышло скрытое наружу,
слушавшим пришлось вмешаться,
чтобы не дошло до схватки;
и, хотя с трудом немалым,
удалось уладить дело.

Тут, покинув шумный праздник,
юноши с Мартином Фьерро
сели на коней и шагом,
как приличествует смелым,
двинулись: отъехав малость,
спешились они у речки.
Расседлав своих лошадок,
четверо в кружок уселись,
и опять пошли рассказы —
вспомнилось то да это,
ибо долгая разлука —
мать бесчисленных историй.
Вот и ночь к ним подоспела,
свой раскинув черный полог,
шитый золотом созвездий;
этот полог всем доступен,
а для гаучо ночлега
лучшего и быть не может:
за тюфяк сойдет попона,
а потник — за одеяло,
и седло — чем не подушка?
Завернувшись с головою
в пончо, может не бояться
ни росы он, ни прохлады.
Нож на поясе, — ведь в пампе
начеку быть надо все же;
хлыст с уздечкой под рукою,
конь поблизости пасется,
всадником своим приучен
быть на расстоянье лассо
(но привязывать им лошадь
истый гаучо не станет), —
так всю ночьку до рассвета
и проспит он безмятежно.
Ежели ночевку выбрал
он подальше от дороги
(осторожность не мешает),
то спокойней спать он может,
чем в своем родимом ранчо:
на просторном этом ложе
не бывает свар семейных
и клопов в нем тоже нету.
Все — и те, кому однажды
так заночевать случилось,

и кому в привычку это —
скажут вам одно и то же.
А потом, чуть свет забрезжит,
спящего разбудят птицы:
допоздна тот спать не будет,
кто ложится натошак.

Им-то четверым подавно
эта ночь была как праздник:
Ночь светлее дня порою,
коль светло у нас на сердце.
Но не суждено быть вместе
им, бродягам неимущим, —
предстояло им расстаться,
ибо легче в одиночку
бедняку найти работу,
кров найти и пропитанье.
И тогда, перед разлукой,
на пороге новой жизни,
в скорбную для всех минуту,
умудренный Мартин Фьерро
сыновьям — и сыну Круса —
напоследок молвил так:

Песнь тридцать вторая



Я отец и старший друг —
речь моя вдвойне надежна.
Первым делом осторожно
жить вам надо: где и как
укрывается твой враг,
догадаться невозможно.

Я одной обязан школе —
горю только своему, —
в ней учился я уму;
так простите мне заране
все ошибки — где взять знаний,
не учившись ничему?

Я ученых-то всегда
выше неученых ставил,
по к тому бы я добавил,
чтоб душой не покривить:
можно без наук прожить, —
не прожить без добрых правил.

Труд, пусть выгодный и легкий,
коли ничему не учит,
скоро до смерти паскучит.
Не ищите барыша,
но поймите — что вас мучит,
а к чему лежит душа.

Тайные твои надежды,
знай, — не для чужих ушей.
Уповай в беде своей
ты на одного лишь бога,
да еще на друга, много,
ежели на двух друзей.

Каждый может ошибиться,
так над промахом чужим
насмехаться погодим,
славы нет в такой потехе.
Помните свои огрехи
и прощайте их другим.

В тень не прячься, коль на друга
вражья нападет орда.
Сам же, коль придет беда,
не взывай к его услугам:
гордость даже перед другом
не теряй ты никогда.

Над скупцом, как и над трусом,
все глумятся поделом;
мы, расставшись с барахлом,
о потере не жалеем.
Жадность дружит с богатеем,
щедрость дружит с бедняком.

Хочешь, чтобы уважали, —
уважай и ты людей;

сам собой всегда владей,
воли не давай порывам,
перед сильным не робей,
а со слабым будь учтивым.

Нам тяжелый труд в привычку.
Пусть ты за день изнемог,—
ешь и спишь ты без тревог,
дышишь вольно, ходишь смело.
Вот подачки брать — не дело:
в горло не пойдет кусок.

В поте своего лица
хлеб насущный добываем,
только вот что забываем:
нищета с сумой своей
топчется у всех дверей,
входит же она — к лентяям.

Никому не угрожайте —
что мы сеем, то пожнем.
Помните всегда о том,
как опасно задираться:
кто пугает, тот потом
будет сам всего бояться.

Человеку помогает
противостоять судьбе
и не изнемочь в борьбе
не факон, не нож, не пика,
но терпения толика
да уверенность в себе.

Разум нам дала природа,
что мы, люди, без него?
Только — глядь — у одного
(вот вам повод для раздумья!)
он пошел в благоразумье,
у другого — в плутовство!

Коль удача подвернется,
ты осилишь силача,
обыграешь ловкача,
укротишь головореза.

Но удача, как железо:
куй, покуда горяча!

Что потеряно, порой
возвращается обратно,
но да будет вам понятно —
это опыт говорит, —
если кто теряет стыд,
то потеря невозвратна.

Братьям надо жить в ладу,
жить любовно, справедливо;
помните, что особливо
старший младшему оплот.
Где промеж своих разброд,
там чужим всегда пожива.

Уважайте стариков:
старости почет по праву.
Забубенную ораву
обходите стороной:
сам в компании дурной
наживешь дурную славу.

Слепнут аисты под старость,
корм не могут добывать,
но тогда отца и мать
кормят выросшие дети;
правила святые эти
нам бы, людям, перенять.

В сердце растравлять не надо
раны от былых обид:
было, да прошло — и квит.
Но не раз я в жизни видел:
если кто тебя обидел,
он тебя же и чернит.

В подчиненье всем несладко,
горше тем, чей нрав крутой.
Эх, несли бы крест земной,
что назначен мирозданьем,
подчиненный — с послушаньем,
а начальник с добротой!

Чести не вернем мы, коли
смолоду не сохраним,
слава добрая — как дым.
Легче легкого с пороком
подружиться пенароком,
трудно развязаться с ним.

Вороватая сорока
все хватает, что блестит;
людям честность не велит
взять чужой хоть грошик медный.
Не стыдись того, что бедный,
вором быть — вот это стыд.

Не деритесь без причины.
Да, на совести моей
есть грехи, и вечно в ней
копошится червь сосущий...
Бойтесь, люди, всего пуще
бойтесь убивать людей!

Пролил кровь я и поныне
въявь терзаюсь и во сне.
Память о моей вине,
угрызенья не ослабли:
словно огненные капли
душу прожигают мне.

Я, как друг, предупреждаю
вас, неопытных ребят,
что бутылка — супостат
самый страшный, самый лютый.
Провинился во хмелю ты,
значит, вдвое виноват.

Вспыхнет бунт — не торопитесь,
разузнайте о вожде:
может, к пущей лишь беде
приведут его затеи.
Учатся все брадобреи
на бедняцкой бороде.

Если на любовь получишь
ты от женщины ответ,

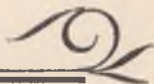
обижать ее не след,—
низко, да и безрассудно:
женщине навлечь нетрудно
на обидчика тьму бед.

Коли теплится в тебе
искра песенного дара,
то уменья ты и жара
ради пустяков не трать;
пусть звенит твоя гитара,
если есть о чем сказать.

Говорю вам в поученье,
чтоб на опыте моем
вы учились; но живем
мы не опытом единым,
вам придется, как мужчинам,
жить вперед своим умом.

Много размышлял об этом
я в лихие времена,
ночи проводя без сна.
Правда в тех советах, дети:
юным нужно все на свете,
старым — истина нужна.

Песнь тридцать третья



И все четверо пустились
на четыре стороны;
но навек с отцом сыны
тайным связаны обетом,
только до поры об этом
мы помалкивать должны.

Лишь скажу, что порешили
(не дивитесь, в наши дни
разве так они одни
поступают?), что отныне
для скитаний на чужбине
сменят имена они.

И, сказав о том, прошу вас —
не подумайте спроста:
мол, на повые места
едут с мыслями худыми,
мол, когда меняют имя,
значит, совесть нечиста.

Не пеняйте, что певец
вас не тешит, но тревожит,
думы тягостные множит.
Ведомо и вам самим:
узел слишком стал тугим!
Кто ж его распутать сможет?

Песнь про гаучо я спел вам,
и пора кончать ее,
хоть бы мог про их житье
петь до смертного я часа,—
ведь не до конца свое
размотал еще я лассо.

Умолкаю, а надолго ль,
сам не ведаю о том.
Хоженным идти путем
легче было бы намного,
только мне милей дорога
прямо к правде, напролом.

Зверь в норе укрыться может,
птица прячется в гнезде,
рыба — меж камней в воде,
только гаучо, беднягам,
неприкаянным бродягам,
нет пристанища нигде.

Мечутся, судьбой гонимы,
словно палая листва!
Нет, нужны тут не слова!
Кто ж подумает о деле —
чтоб дома они имели,
школы, церкви и права?

Время уж распутать узел!
Все нахальней, что ни год,

кружит подлый хоровод
захребетников зубастых
да стервятников горластых,
что терзают наш народ.

Но, даст бог, не навсегда
мы в глубокой этой яме.
Действовать должны мы сами
и при этом твердо знать:
чтобы разгорелось пламя,
надо снизу разжигать.

Власть имущие стремятся
только к выгоде своей,
что им до простых людей,
им пужны лишь лизоблюды:
власть, как дерево Иуды,
губит всех, кто рядом с ней.

И, как водится, все шишки
падают на бедняков.
Но они в конце концов
своего дождутся часа:
ведь из малых ремешков
крепкое свивают лассо.

В этой книге только правда.
Коль ее ты дочитал,
знай, что автор не приврал
и что не был он корыстен:
на поставке горьких истин
не составишь капитал.

Отдохнуть теперь позвольте:
тяжкую я пошу нес,
задал не один вопрос,
на иные дал ответы,
тридцать три мной песни спеты —
столько прожил лет Христос.

Но притом не позабудьте
одного еще словца
утомленного певца:
свой рассказ (коль провиденье

жизнь продлит и вдохновенье)
довежу я до конца.

Если ж не вернусь я к песням
о родимой стороне,
то не по своей вине;
о моей услышав смерти,
каждый гаучо, поверьте,
погорюет обо мне.

Радует меня их радость,
их печаль меня гнетет;
многих мой рассказ проймет,
мало кто его забудет.
Сохранять вовеки будет
память обо мне народ.

Память — драгоценный дар!
Коль ругнул тут кой-кого я
и задет он за живое —
пусть не злобится душа:
если позабыл дурное,
значит, память хороша.

И да не обидит вас
речь правдивая, прямая:
о нужде родного края
песни пел я много лет,
*не кому-нибудь во вред,
но добра для всех желая.*

Примечания

Часть первая

Стр. 23. *Мате* — парагвайский чай.

Стр. 24. *...гаучо (он начеку) // спрыгнет, удержав поводья.*— Среди гаучо это признак высшего мастерства в объездке коней.

Стр. 26. *...прямо в шкуре // запеченные быки* — праздничное блюдо, так как кожи ценились и хранились для продажи.

Карбонада — жаркое из мяса, початков зеленой кукурузы, картофеля и риса.

Масаморра — молотый маис, его варят и едят с молоком и сахаром.

Стр. 27. *...другого нет пути, // как — в отряд и на границу.*— Имеется в виду принудительная служба гаучо в районах, отвоеванных у индейцев.

Пульперия — сельская лавка и одновременно таверна, где певцы-паядоры демонстрировали свое мастерство.

Стр. 28. *...быть солдатом во сто крат // хуже, чем копать каналы.*— Иммигранты-ирландцы, появившиеся в Ла-Плате в 40-е годы XIX в., обычно были пеонами в поместьях или землекопами.

...голосовать-то я // и взаправду не являлся.— Голосование на выборах происходило под строгим контролем властей, и гаучо, не явившийся на избирательный участок, считался преступником.

Стр. 29. *Айякучо* — город в провинции Буэнос-Айрес.

Болас (болеадорас) — оружие гаучо, заимствованное у индейцев. Представляет собой ремень с двумя-тремя обшитыми кожей каменными или деревянными шарами на концах. Болас бросают на скаку под ноги бегущему животному.

Стр. 31. *...тут вот — резали коня* — признак, по которому в пампе узнавали о местонахождении индейцев, употреблявших в пищу конину; гаучо ели конину только в крайних случаях.

Стр. 32. *Ньянду* — страус, обитавший в пампе.

Стр. 37. *Порос* — дикий кабан.

Стр. 40. *Росас* (Хуан Мануэль Ортис де Росас; 1793—1877) — аргентинский диктатор в 1829—1852 гг.

Стр. 43. *Асадо* — жаренное на вертеле или на решетке мясо.

Стр. 45. *Дескать, едет генерал, // сам дон Ганса* — военный министр, генерал Мартин де Гаинса (1814—1888).

Стр. 47. *В заячьей норе, поди-ка, // укрывался горемыка...*— Американские зайцы (вискача) вырывают для себя большие норы.

Стр. 50. *...в поясе — нет ни реала.*— Широкий кожаный пояс гаучо имел отделения для хранения денег.

Стр. 52. *На руку набросив пончо...*— Намотанное на левую руку пончо служило гаучо, как испанскому идальго плащ, своеобразным щитом, которым в сражении он отражал удары.

Факон — прямой длинный тесак, характерное оружие гаучо.

...удалось // негру пропороть мне щеку // кончиком ножа...— По этикету гаучо, порезы на лице — особенно обидное ранение, демонстрирующее очевидное превосходство противника.

Стр. 56. *Вол, куда ж ты без ярма?* — Поговорка: вола, неспособного носить ярмо, отправляют на бойню.

Стр. 57. *Каранчо* — стервятник, охотится вблизи жилья.

Стр. 59. *Три Марии* — простонародное название созвездия Орион.

Чаха (яха) — крупная птица; отличается особенной чуткостью и поднимает крик при малейшем шуме. Для гаучо, называвших эту птицу «часовым», ее крик был сигналом тревоги.

Стр. 62. ...с длинной тростниковой пикой.— Пика — орудие погонщика скота.

...круг факном по земле я // прочертил — из похвальбы.— Очерчивая границу, за которую не переступит противник, гаучо показывает таким образом свое презрение к нему.

Стр. 68. *Эстансия* — скотоводческое поместье.

Стр. 72. *Гаго* — креольский парный танец-пантомима, сопровождающийся шутивными куплетами.

Фандангильо (фанданго) — распространенный среди креолов испанский танец стиля фламенко.

Перикон — популярный в XIX в. многофигурный танец, восходящий к европейскому контрдансу; сопровождался стихотворными куплетами.

Стр. 77. *Теругеру* — осторожная степная птица, похожая на аиста.

Стр. 79. *Матако, мулита* — разновидность броненосцев.

Стр. 81. ...и швырнул, что было сил, // оземь верную гитару...— Паядор разбивает свой инструмент, будучи побежденным в состязании или желая показать, что он достиг высшей степени совершенства, недоступной для других певцов.

Часть вторая

Стр. 100. ...ездить без стремян привык, // палец в петлю продевая.— Чтобы прочнее держаться в седле, гаучо прихватывал стремя или заменявшую его ременную петлю пальцами ног; сапоги гаучо в носке обычно имели отверстия.

Стр. 116. ...ну, а к тридцати годам // станешь совершеннолетним...— По законам того времени совершеннолетие наступало в тридцать лет.

Стр. 122. *Санта-Фе* — центр одноименной провинции Аргентины.

Стр. 148. ...в той толпе, среди креолов, // оказался чернокожий...— Возможно, что выбор негра в качестве противника Фьерро в состязании не случаен. В чилийском фольклоре, близком к аргентинскому, негр Тагуада оказывается побежденным в подобном соревновании; в аргентинском фольклоре легендарный паядор Сап-тос Вега терпит поражение от неизвестного певца, наделенного чертами дьявола (черный). В староиспанских источниках широко представлены факты о состязании между маврами и испанцами.

Стр. 151. *Мака* — водоплавающая птица.

Стр. 174. ...власть, как дерево Иуды, // губит всех, кто рядом с ней.— По народному поверью, тень от смоковницы (дерево Иуды) вредоносна.

Содержание

<i>В. Земсков. Предисловие</i>	3
--	---

Часть первая

Гаучо Мартин Фьерро

Песнь первая	19
Песнь вторая	22
Песнь третья	27
Песнь четвертая	36
Песнь пятая	41
Песнь шестая	44
Песнь седьмая	49
Песнь восьмая	54
Песнь девятая	57
Песнь десятая	65
Песнь одиннадцатая	70
Песнь двенадцатая	74
Песнь тринадцатая	77

Часть вторая

Возвращение Мартина Фьерро

Песнь одиннадцатая	83
Песнь двенадцатая	87
Песнь тринадцатая	97
Песнь четырнадцатая	99
Песнь пятнадцатая	103
Песнь шестнадцатая	107
Песнь семнадцатая	109
Песнь восемнадцатая	113
Песнь девятнадцатая	115

Песнь двадцатая	120
Песнь двадцать первая	121
Песнь двадцать вторая	125
Песнь двадцать третья	128
Песнь двадцать четвертая	132
Песнь двадцать пятая	133
Песнь двадцать шестая	137
Песнь двадцать седьмая	139
Песнь двадцать восьмая	143
Песнь двадцать девятая	148
Песнь тридцатая	149
Песнь тридцать первая	165
Песнь тридцать вторая	167
Песнь тридцать третья	172
<i>Примечания</i>	176

Эрнандес Х.

Э81 Мартин Фьерро / Пер. с исп. М. Допского;
Предисл. и примеч. В. Земскова; Худож.
А. Яковлев. — М.: Худож. лит., 1984. — 179 с.

Поэма классика аргентинской литературы XIX века Хосе Эрнандеса «Мартин Фьерро» вошла в народное творчество, став непосредственным выражением сознания народа, представлений о родине, красоте, мудрости, справедливости. Книга выходит к 150-летию со дня рождения ее автора.

Э $\frac{4703000000-137}{028(01)-84}$ 169-84

ББК 84.7Ар
И(Арг)

Хосе Эрнандес

Мартин Фьерро

Редактор *М. Филиппова*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Г. Кисслева и О. Наренкова*

ИБ № 3285

Сдано в набор 29.06.83. Подписано в печать 05.04.84. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 9,45. Усл. кр.-отт. 9,45. Уч. изд. л. 9,67. Изд. № VII-1419. Тираж 25 000 экз. Заказ 3-271. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Киевская книжная фабрика «Жовтень». 252053, Киев, Артема, 25.

